**Капли звездного света**

Павел Амнуэль

1

Это был сон.

Высоко к небу поднялся замок. Он смотрел на мир щелками глаз-бойниц. Я стоял на самой высокой башне, а сверху мне улыбалось голубое солнце. Ослепительное, ярче неба. Лучи его касались моих плеч, щек, ладоней, и я ловил солнечный свет, мягкий, теплый, как вода в южном море.

Замок начал таять, будто мороженое в яркий полдень, и осталось только солнце — голубое, ласковое, смеющееся...

\* \* \*

Я открыл глаза и понял, что наблюдений сегодня не будет. Ни солнечных, ни звездных. Потолок был серым, без теней и резвящихся бликов — за окном киселем сгустился туман. Было зябко, хотелось лежать и читать детектив.

Замок и голубое солнце... Замок вспоминался смутно, но голубое солнце, неправдоподобное, фантастическое, так и стояло перед глазами.

Я растолкал Валеру, поставил на плитку чайник. Мы пили почти черную от неимоверного количества заварки жидкость, и Валера произносил традиционный утренний монолог:

— Опять спектры... допплеровские смещения... считаешь, считаешь, а толку...

Идти на работу ему не хотелось, он охотно посидел бы со мной, жалуясь на жизнь. Валера похож на студента перед сессией, обалдевшего от занятий. Все он делает медленно — ходит вперевалочку, работает с бессмысленной медлительностью: возьмет линейку, повертит в руках, приложит к бумаге, посмотрит, развернет лист до края стола, подумает... Саморукова, нашего общего шефа, это жутко раздражало, он весь кипел, но сдерживался, потому что придраться было не к чему — работал Валера добросовестно.

Я остался дома, разложил на столе схему микрофотометра. Вечера под вечер в лаборатории потянуло паленым, и прибор, как говорится, дал дуба. Нужно было найти причину. Пальцы двигались вдоль тонких линий чертежа, а мыслям было холодно и неуютно в голове, они рвались к солнцу — к тому странному голубому солнцу, которое стояло над замком, хранившим тайну.

Я никак не мог привыкнуть к новому месту работы. Три недели я в обсерватории, и три недели нет покоя. То у солнечников горит прибор — «Костя, посмотри, у тебя больше практики...». То на малом электронном телескопе отказывают микромодули — «Костя, на выход». То Саморуков начинает наблюдения на Четырехметровом телескопе, а в лаборатории сократили должность оператора — «Костя, посиди-ка до утра». На заводе микроэлектроники, где я, работал после окончания института, все было стабильно и четко, как фигура Лиссажу. Свой пульт, своя схема, своя задача. Но я ушел. Не надоело, нет. Просто месяца два назад на заводе появился Саморуков. Вычислитель «Заря», который был ему нужен, не вышел еще из ремонта, и Саморуков полчаса стоял у меня над душой, смотрел, как я впаиваю сопротивления.

— Почему бы вам не уволиться? — спросил он.

Так я и оказался в его лаборатории. Убеждать Саморуков умел. Он даже не дал мне времени на раздумья. Присматриваться я начал уже здесь, в горах, вступив в должность старшего инженера. Все казалось необычным, новым, интересным, а тут еще сон мой сегодняшний — как мечта, зовущая к себе.

Я так и не понял по схеме, что там могло сгореть. Натянул свитер, вышел из дома и словно окунулся в холодное молоко. Туман вскоре стал не таким уж густым, я различал даже кроны деревьев на вершине Медвежьего Уха — небольшой горы, у подножия которой расположилась обсерватория. Смутно проступала башня Четырехметрового, отгороженная от поселка узким овражком.

Из тумана вынырнула долговязая фигура, сутулая, нелепо размахивающая длинными руками.

— А у нас по утрам туман, — пропел Юра Рывчин, поравнявшись со мной.

Юра — наш аспирант, то есть аспирант Саморукова. Он закончил диссертацию и теперь досиживает свой аспирантский срок в ожидании очереди на защиту. Энергия у него неуемная, вечно он носится с новой идеей, вечно выпрашивает у кого-нибудь время на «Наири-2».

— В главный корпус? — спросил Юра.

Я кивнул, зябко поежившись. От каждого лишнего движения вода проливалась за воротник, и я шел, втянув голову в плечи.

— Какой-то остряк, — продолжал Юра, — написал в рекламном проспекте обсерватории, что у нас двести восемьдесят ясных ночей в году. А туманы весной и осенью — вот тебе сотня ночей! И еще ночи ясные наполовину — сотня. Получается, что год у нас длится суток шестьсот — как на Марсе...

В лаборатории горел свет — то ли не выключали с вечера, то ли включили по случаю тумана. Микрофотометр стоял с поднятым кожухом, и я полез в его чрево, как хирург во внутренности обреченного. Поломка оказалась непростой, и когда я сделал, наконец, последнюю пайку, свет лампочки над моей головой скорее угадывался. Стоял такой ослепительно голубой августовский полдень, будто звезда из моего сна неожиданно взошла на земном небе.

Я вышел из лаборатории и тут же увидел Ларису.

Первое, о чем я подумал, — замок и солнце! Должно же было что-то случиться сегодня... Лариса шла по коридору в мою сторону, а рядом пристроился Юра, травил байки. На лице Ларисы — знакомое мне с детства ироническое выражение, светлые волосы волнами разбросаны по плечам. Юра мельком взглянул на меня, но, пройдя мимо, даже повернулся и посмотрел внимательно — представляю, какое у меня было лицо. Я медленно двинулся вслед, и только теперь вопросы зашевелились у меня в голове. Откуда? Как? Почему? Что нужно Ларисе в обсерватории и куда делся тот пижон, ее муж?

За поворотом коридора Валера, сонно пришурясь, изучал стенгазету «Астрофизик». Я остановился рядом и тупо смотрел на фотографию лабораторного корпуса... Лариса здесь. Мы учились вместе — с пятого класса. Обожание мое было молчаливым. Лариса сторонилась меня, а очередной ее поклонник окидывал меня пренебрежительным взглядом. После десятого класса, когда мы уже учились в разных вузах, я изредка приглашал Ларису в кино — без особого успеха и ни на что не надеясь. Я ждал чего-то, а Лариса ждать не собиралась. На втором курсе библиотечного факультета она благополучно вышла замуж за журналиста местной газеты. Встретились они на городском пляже. Красивый мужчина подошел к симпатичной девушке и предложил познакомиться. Ничего странного они в этом не видели. Журналист был напорист— трое суток спустя, час в час, он сделал Ларисе предложение. Мне он был определенно антипатичен. Стоило посмотреть, как он берет интервью. Впечатление было таким, будто собеседник зря отнимает у корреспондента время.

Новости о Ларисе я воспринимал очень болезненно. Узнавал от знакомых: у нее родилась дочь, назвали Людочкой. Муж стал завотделом писем...

— Валера, — сказал я. — С кем пошел Юра?

— А, барышня... — отозвался Валера. — Наша библиотекарша, Лариса. Вернулась из отпуска.

Та-ак... Лариса работает здесь. Из всех совпадений это — самое немыслимое. Как теперь быть?

— Тебя шеф звал, — сообщил Валера.

Я побрел на второй этаж, в длинный и узкий, как труба, кабинет Саморукова. Усилием воли заставил себя отвлечься, но удавалось мне это плохо. Саморуков посмотрел на меня из-за своего стола, такого же длинного и неуклюжего, как сама комната, и сказал:

— Не выспались, Костя?

— Нет, ничего... — пробормотал я.

Покончив с заботой о здоровье сотрудника, Саморуков перешел на деловой тсн — сразу позабыл, что перед ним человек, а не автоматическое устройство.

— Я попросил бы вас понаблюдать сегодня в ночь. Нужно отснять Дзету Кассиопеи. Последний спектр с высокой дисперсией. Мое твердое убеждение — коллапсар есть.

Он удивленно взглянул на меня — должно быть, оттого, что я, услышав его слова, не подскочил от радости. В свои тридцать четыре года Саморуков был, по-моему, идеальным типом ученого. Он сидел за столом с раннего утра до вечера, а потом шел наблюдать. Утром, когда оператор телескопа; досматривал первый после ночной вахты сон, Саморуков являлся в фотолабораторию и следил, как ребята проявляют и сушат отснятые ночью пластинки.

Шеф искал коллапсары — странные звезды, увидеть которые в принципе невозможно. Это мертвые звезды — они прожили долгий век, видели рождение Галактики и были в далекой своей юности ослепительно горячими.

К звездам, как к людям, старость подходит незаметно. Холоднее становятся недра, с возрастом звезда пухнет, толстеет. Она светит холодным красным светом, а в самом ее центре, словно тромб в сердце обреченного, возникает плотное, горячее, очень-очень маленькое гелиевое ядро — предвестник скорого конца. И конец наступает.

Миллиарды лет живет звезда, а смерть настигает ее в неуловимую долю секунды. Была звезда — и не стало. Яростно раскинул огненные руки алый факел, разметал планеты, испепелил астероиды, сжег пыль. Далеко от места трагедии, на маленькой планете Земля, люди смотрели в небо, где соком граната наливалась звезда-гостья. Сверхновая. Яркий пламень Вселенной.

К Сорванная взрывом оболочка еще не рассеялась в пространстве, а на месте бывшей звезды — будто головешки от догоревшего костра. Тяготение сдавило, смяло, стиснуло звезду в плотный комок материи. И даже свет, не способный и мгновения устоять на месте, оказался пойманным в ловушку. Тяжесть. Все кончилось для звезды, осталась только вечная неустранимая тяжесть. Черными дырами назвали астрофизики эти звездные останки. Но Саморуков не любил это название, носившее отпечаток обреченности, и предпочитал говорить по старинке: мы ищем коллапсары. Шеф искал коллапсары пятый год, сам разработал методику и был уверен в успехе. Он искал коллапсары в двойных звездных системах, где только одна звезда успела погибнуть, а вторая живет и может помочь в поисках. Так вот живут супруги много лет душа в душу, смерть забирает одного из них, но другой еще живет, и в сердце его жива память о спутнике жизни...

Дзета Кассиопеи. Прежние наблюдения говорили — это двойная система. Но где же вторая звезда? Она не видна. «Это коллапсар», — утверждает Саморуков. Сегодня ночью он хочет это доказать. А я буду глядеть в трубу-искатель, держать голубую искорку в перекрестии прицела, чтобы она не вышла за пределы поля. Этому я научился за три недели. Мне даже нравилось: тишина, едва слышный гул часового механизма, огни в поселке погашены, чтобы не мешать наблюдениям, на предрассветном небе блекнут звезды...

Наблюдения. Я не могу избавиться от благоговейного трепета при этом слове. Сразу представляется: огромное небо, огромные звезды и на востоке, над горизонтом, громадная луна. И сознаешь собственную незначительность перед всем этим, и кажется, что вот-вот оборвется трос, поддерживающий на весу черный цирковой купол с блестками, и небо обрушится. Это чувство возникло в первую ночь и осталось — каждый раз я встречаюсь с небом будто впервые.

2

Лариса не удивилась, увидев меня. Разве что в глазах засветилось женское любопытство — вот как ты изменился за пять лет.

— Здравствуй, Костя, — сказала она. — Ты здесь на экскурсии?

— Я здесь работаю, — сообщил я.

— Вот как, — сказала Лариса. — Значит, недавно. Недели три? Ты ведь занимался электроникой. Да, конечно, здесь тоже много приборов. Саморуков переманил? Он умеет. Сильная личность. Работа нравится? А я с мужем развелась. Здесь вот почти год.

«Развелась с мужем? — подумал я. — Выходит, все же оказался подонком. Наверно, трудно ей. Одна с дочкой — здесь все же не город. Стоп, значит, Лариса свободна?!»

Не надо. Нет никакой Ларисы. Не нужен я ей. Есть мой шеф Саморуков, и есть микрофотометр, который непременно должен работать, чтобы утром можно было обрабатывать свеженькую спектрограмму.

3

Телескоп еще спал, когда я поднялся в башню. Он вел жизнь зоркого филина, ночной птипы, и, устав поутру, закрывал свой единственный глаз и мирно дремал, греясь под солнцем. Он не любил, когда его тревожили днем: он тогда артачился, делал вид, что у него течет масло в подшипниках, перегреваются моторы, шумел сильнее обычного и успокаивался, когда ребята из лаборатории техобеспечения закрывали купол, и в башню опять спускалась темнота.

Ночи он любил. Ему нравилось, когда в прорезь купола заглядывала луна, и он радостно светился, будто огромная елочная игрушка. Он поворачивался на оси, пытаясь выглянуть наружу, искал свою звезду и долго любовался ею, широко раскрыв глаз. Звезда завораживала его, он мог смотреть на нее часами и не уставал.

Телескоп был старательной и умной машиной — он обладал мозгом, программным устройством с большой оперативной памятью, и знал многие звезды по именам. Он сам отыскал для меня звезду Саморукова, яркий голубой субгигант, Дзету Кассиопеи. Для этого ему пришлось поднять трубу чуть ли не к зениту.

Смотреть в окуляр искателя из такого положения неудобно: голова запрокинута, шея ноет. Вовсе не было необходимости следить за объектом в искатель. Никто из операторов и не следил. Но сегодня я один — Валера сказал, что придет позже, — и я сидел, задрав голову, приложив глаз к стеклу окуляра.

Я глядел на Дзету Кассиопеи и вдруг понял, что ее-то и видел во сне. И вот увидел опять. Увидел, как медленно разбухает звезда, превращаясь в голубой диск. Ей стало тесно в темном озерце окуляра, и она выплеснулась наружу, лучи ее стекали по моим ресницам и застывали, не успевая упасть в подставленные ладони.

Я немного скосил глаза и заметил планету. Планету в чужой звездной системе. Она висела неподалеку от диска звезды — тусклый розовый серп, маленький ковшик, пересеченный неровными полосами.

Планета была окутана облаками — клокочущими, бурлящими, будто кипящий суп. Розовые полосы оказались просветом в тучах, но и поверхность планеты вся кипела, мне даже показалось, что я вижу взрывы. И еще мне показалось, что протянулся от планеты к звезде светлый серпик. Изогнутый, серо-оранжевый, где-то на полпути к звезде он совсем истончился, и я потерял его из виду. Потом, впитав в себя горячую звездную материю, он появился вновь — и был уже не серым, а ярко-белым. Серпик упирался в голубой океан звезды — это был уже не серпик, а яростный протуберанец, каких никогда не было и не будет у нашего спокойного Солнца.

Почему-то в этот момент я подумал о Саморукове, Я не видел в той звездной системе ничего похожего на коллапсар — надо сказать об этом шефу. Да нет, что я скажу: «Михаил Викторович, сегодня мне привиделась Дзета Кассиопеи...»? Я же не сплю, черт возьми! Вот теплое стекло окуляра, а вот холодная труба искателя. Под куполом сумрачно, лампа у пульта выхватывает из темноты лишь стул и полуоткрытую дверь — выход на внешнюю круговую площадку.

Тихо щелкнул над ухом тумблер выключения экспозиции, кассета с пластинкой выпала из зажимов, и я взял ее в руки. У меня в ладонях — спектр звезды Дзеты Кассиопеи!

Где-то внизу послышались шаги — двое поднимались по лестнице, будто духи подземелья, пробирающиеся к звездному свету. Я положил кассету в пакет, втиснул новую в тугие, упирающиеся зажимы, включил отсчет. Люлька медленно пошла вниз,, и я спрыгнул, когда она коснулась пористого пола. Валера с Юрой стояли у пульта — два привидения в желтом неверном свете.

— Как бдится? — спросил Юра.

Ему явно не хотелось разговаривать, ему хотелось спать.

— Неплохо, — ответил я. — А ты почему здесь?

— Шеф, — коротко объяснил Юра. — Он считает, что теоретик должен уметь все. Вот и приходится...

Мы сидели у пульта и пили чай из большого китайского термоса. Мне казалось, что чай пахнет темнотой. Понятия не имею, как пахнет темнота, но только в желтом полумраке, только под звездной прорезью купола я пил такой обжигающе вкусный час.

— Юра, — сказал я. — Ты видел в телескоп планеты?

— Не стремлюсь, — величественно махнул рукой Рывчин. — Правда, в детстве глядел на Сатурн.

— Я не о том. В других звездных системах. Например, в системе Дзеты Кассиопеи.

У Юры мгновенно прошел сон. В глазах вспыхнули смешинки, рот расплылся в улыбке.

— Какие планеты? Три недели у телескопа, и ты еще не стал скептиком? Погляди на Валеру — разве он похож на человека, который видел у других звезд планеты?

— Ладно, Юра, — вступился Валера, морщась. Голос Рывчина звучал под куполом, как набат, он нарушал тишину ночи и неба, и Валера воспротивился кощунству.

— Читай учебник, — посоветовал Юра, — а то станешь как Сергей Лукич...

Сергей Лукич Абалакин, шеф второй группы теоретиков, был притчей во языцех. Он защитил кандидатскую лет пятнадцать назад, и этот труд настолько подорвал его силы, что с тех пор Абалакин не опубликовал ни одной работы. Сотрудники его печатались неоднократно и в примечаниях благодарили шефа за «стимулирующие обсуждения». Юра рассказывал, что на последней конференции по нестационарным объектам Абалакин решился выступить с десятиминутной речью о квазарах. Говорил он невнятно, крошил мел и испуганно смотрел в зал. Его спросили: может ли ваша модель объяснить переменность блеска квазаров? Абалакин пожал плечами и пробормотал:

— Наверно...

После некоторого колебания он добавил:

— По-видимому... возможно... — И закончил: — Но маловероятно.

С тех пор в обсерватории на любой каверзный вопрос отвечали единым духом без пауз между словами: «наверно-по-видимому-возможно-маловероятно».

Вряд ли я смог бы стать похожим на Абалакина. Не тот характер. Да и астрофизику Абалакин знал, конечно, как свои пять пальцев. Он был умный человек, этот Абалакин, но оказался не на своем месте. Ему бы преподавать в университете. Учить других — вот его призвание; Саморуков ведь тоже работал у Абалакина, пока не получил собственную группу.

Закончилась последняя экспозиция Дзеты Кассиопеи, и Валера полез в люльку за кассетой. Я расписался в журнале наблюдений и пошел спать.

На дворе было морозно. Только что взошла луна, желтая, как недозрелый гранат. Я посмотрел в зенит, но не нашел созвездий — мое знание астрономии еще не возвысилось до такой премудрости. Нечего было и пытаться отыскать Дзету Кассиопеи. Но глаза сами сделали это. Взгляд будто зацепился за что-то в небе. Засветилась, замерцала далекая голубая искорка. Она набухла, как почка на весеннем дереве, и я увидел темные водовороты пятен на ее поверхности. А планету не видел — дымка окутывала ее, но я знал, чувствовал, что она рядом со звездой, бурная и горячая.

Я закрыл глаза, сосчитал до десяти, а потом и до ста. Тогда я открыл глаза, но не решался смотреть в небо. Со стороны Медвежьего Уха, перебираясь через овраги, двигались белесые призраки — спотыкаясь о верхушки деревьев, брел утренний туман.

4

У Людочки расшнуровался ботинок, и мы остановились. Людочка болтала ногой, сидя на невысоком пне, и я никак не мог попасть шнурком в пистон.

— Сиди спокойно, — строго сказал я.

Мы гуляли уже больше часа — обычное наше путешествие перед заходом солнца. Лариса неохотно отпускала со мной дочку. За месяц мы с Людочкой подружились, и Ларисе это почему-то не нравилось.

Едва мы добирались до перекрестка, откуда начинался так называемый лес (здесь росли ежевичные кусты), как Людочка останавливалась, заглядывала мне в глаза и тихо спрашивала:

— Ты видел опять?

Мы садились друг перед другом на два пенька, и я рассказывал сон. Рассказывал сказку. Рассказывал то, что было на самом деле.

— Сегодня была совсем другая звездочка, — говорил я, не заботясь о чистоте терминологии. Людочка внимательно относилась даже к «гравитационному потемнению», воспринимая его как волшебника. — Звездочка очень маленькая. У нее были мягкие золотистые лучи, совсем как твои косички. И она была очень грустная, потому что была одна. У других звезд есть дети-планеты, а у этой не было. А мне очень хотелось увидеть планету. Настоящую, живую, чтобы бегали поезда по паутинкам-рельсам, чтобы в просветах облаков виднелись белые следы самолетов. И чтобы, если приглядеться, можно было рассмотреть чужих людей на улицах чужих городов. Это очень важно, Людочка, увидеть чужую жизнь. Попробовать разобраться в ней. Тогда и свою жизнь мы будем понимать лучше. Знаешь, сейчас много говорят о связи цивилизаций. Но все это — в каком-то будущем, никто не знает, когда оно настанет. А я могу сейчас — увидеть и рассказать. Надо только найти ее — чужую жизнь. Понимаешь, Людочка? И еще надо, чтобы поверили... Никто ведь не видит, а я вижу.

— Волшебники всегда все видят, — сказала Людочка. Какой из меня волшебник? Когда месяц назад я увидел планету в системе Дзеты Кассиопеи, я думал, что так и надо. У каждой профессии, естественно, свои странности, к ним нужно привыкнуть, вот и все. Звезды я видел теперь почти каждую ночь — у телескопа или во сне. Дзета Кассиопеи являлась мне в голубом ореоле короны, и из ночи в ночь я за мечал, как лучики ее то укорачиваются, будто впитываемые звездой, то удлиняются щупальцами кальмара, изгибаются, набухают; даже розовая планета иногда погружалась в них, и тогда на ее серпе вспыхивали оранжевые искры.

На восьмую или девятую ночь я разглядел нечеткие тени на склонах кратеров и понял, что звездное вещество выжгло на планете огромные ямы и раны эти теперь медленно зарастали свежим планетным «мясом», будто планета живая, будто ей больно. На десятую ночь наблюдений, приглядевшись, напрягая зрение до рези в глазах, я увидел на склонах кратеров движущиеся точки. Наверно, это были животные. Стада их скапливались у вершин кратеров — они пили звездную теплоту, раны на теле планеты были для них лакомым угощением.

Я был уверен, что на следующую ночь смогу разглядеть даже, сколько ног у этих тварей, но утром на вершину Медвежьего Уха поднялся туман. Над обсерваторией нависли хмурые тучи. Два дня не было наблюдений. Юра не выходил от шефа — они заканчивали статью. Валера дремал в лаборатории, подложив под голову «Теорию звездных атмосфер». Над ним висела табличка: «Тихо! Наблюдатель спит!»

Я одолел половину общего курса астрофизики, когда убедился в простой истине, которую, впрочем, знал и раньше: никто никогда чужих планетных систем в телескоп не видел и видеть не мог. И я тоже не мог. Нет такого физического закона. Я уже не ждал откровений. Я всегда считал себя трезвым практиком и вовсе не был готов к встрече с невероятным...

Книгу мою накрыла широкая ладонь — я поднял голову и увидел перед собой Саморукова. Юра сидел за своим столом и был почему-то мрачен. Шеф посмотрел на название книги, полистал ее без любопытства.

— Что вы сделали за два дня? — спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь.

— Погода... — промямлил Валера.

Я кивнул. Конечно: нет погоды, все приборы в порядке.

— Так ли? — усомнился Саморуков. — А если микрофотометр захандрит в первый же час работы? Вы можете дать гарантию, что он не выйдет из строя, пока мы не закончим измерения?

Нет, я не мог дать такой гарантии. Мне не нравился выходной трансформатор. Он работал, но был на грани.

— Вот видите, — сказал шеф неодобрительно. — Я, Костя, не любитель чтения. Работа ценится по результату, а не по тому, много ли человек знает.

— Если мало знаний, какой может быть результат? — сказал я.

— Чепуха, — усмехнулся Саморуков. — Два дня вы штудировали курс астрофизики, и он ничего не прибавил к вашему знанию микроэлектроники. В молодости, когда много энергии, нужно стремиться больше делать самому. Вы же знаете, наши приборы — самые совершенные, лучших нет. Значит, если что-то не так, в литературе вы помощи не найдете, нужно думать самому. Потому я и позвал вас к себе: ваш начальник на заводе сказал, что вы думающий инженер. Таким я вас и хочу видеть. Посредственный астрофизик мне не нужен. Конечно, я не против чтения. Но читать нужно то, от чего, вы уверены, будет результат. Конкретный результат, понимаете? Тогда нам с вами по пути. Убедил?

— Наверно-по-видимому-возможно, — процитировал Юра и закончил в полном соответствии с истиной, — но маловероятно.

— Ничего, — бодро сказал шеф — Со временем поймете, Костя.

Он сказал все, что хотел, и решил, что терять на нас еще хоть одну секунду бессмысленно. Через секунду Саморукова в лаборатории не было — дверь звучно хлопнула.

Тот день был пятницей. Вечером ушел в город автобус, и Валера с Юрой поехали домой. Собственно, домой поехал Валера — он жил с родителями в огромной квартире с лепными потолками. А Юра отправился к нему в гости — родственников у него здесь не было, потому что родился он в Чите и к нам на Урал приехал по распределению после окончания МГУ. Я остался один: домой не хотелось. Дома обо мне слишком усердно заботились — обычное дело, когда в семье единственный ребенок. В последнее время, когда я бывал дома лишь два дня в неделю, заботы становились все докучнее.

Я остался, и мне повезло. Были отличные ночи, очень морозные для конца сентября и такие кристально чистые, что, казалось, виден каждый камешек на вершине Медвежьего Уха. По утрам на куполе телескопа сверкала роса, и купол блестел, как начищенное зеркало. Голубизна неба смешивалась с синевой алюминиевого покрытия, создавая необъяснимую игру оттенков. Телескоп казался фотонным звездолетом на стартовой площадке. Он и был звездолетом, на котором я каждую ночь уходил в странствия. Я начал считать свои звездные экспедиции, в те ночи состоялись тринадцатая и четырнадцатая. Я был единственным членом экипажа.

Центр Звездоплавания задал мне курсовые данные в сторону далекого синего Лльгениба. Я слетал за пятьсот световых лет и вернулся к рассвету, привезя восемь спектрограмм для Саморукова и томительные воспоминания для себя. Альгениб — звезда довольно яркая, и мне не пришлось долго ждать. Голубая точка на скрещении нитей стала надвигаться на меня, распухая и превращаясь в неистовую звезду. Я еще не видел такого буйства: языки протуберанцев уносились в пространство на многие звездные радиусы и вдруг неожиданно взрывались, и худо приходилось тогда трем безжизненным крошкам — планетам, которые, будто утлые челны, то к дело ныряли в пламенные валы, а когда вал спадал и протуберанец уносился дальше, планеты светились красным, как угли, выброшенные из огня.

Под утро, когда я вышел из звездолета, я увидел на востоке розовую капельку Марса и подумал, что не пробовал еще увидеть подробности на наших, солнечных, планетах. Марс не мигая смотрел на меня. Взгляды наши скрестились.

Я ждал откровения. Думал, что увижу такое, чего просто не могло получиться на самых крупномасштабных снимках межпланетных станций и на нечетких панорамах, переданных спускаемыми аппаратами. Где-то в подсознании осталась надежда на марсиан, на их постройки, города, плантации. И может быть, оттого, что я знал, представлял заранее все, что увижу, что-то притупилось в мыслях. Марс поднимался все выше и нисколько не рос, не желал расти. Заболели глаза, начало ломить в затылке, выступили слезы. Неудача.

Уже засыпая под холодными лучами зари, я все повторял, будто зацепку к разгадке тайны: я вижу звезды и не вижу Марса. Звезды далеко, Марс близко. Одно вижу, другое нет. Почему? Почему...

5

Мы возвращались без грибов. День был ветреный, и Людочка замерзла. Она вышла без шапки и боялась, что мама будет сердиться. А я думал о семинаре. Сегодня Саморуков расскажет о коллапсаре в системе Дзеты Кассиопеи. Он будет горд, потому что проделана тонкая работа, измерены очень малые лучевые скорости, а теоретические модели изящны. А я буду слушать и молчать, и тайна будет рваться из меня, придется мне держать ее обеими руками, потому что вовсе не ко времени сейчас говорить об этом.

— А почему мама не ходит с нами в лес? — неожиданно спросила Людочка, когда мы подходили к обсерватории.

Почему? Разве я знаю, Людочка, что на душе у твоей мамы?

— Ей некогда, — степенно объяснил я. — В библиотеке много читателей.

— А в выходной? — не унималась Людочка.

— Маме нужно готовить тебе обед, — я упорно отыскивал отговорки, лишь бы не говорить правды.

— А вот и нет. — Людочка запрыгала на одной ноге, обрадованная моей неосведомленностью. — Обед мама готовит вечером. Наверно, мама не хочет потому, что ты волшебник. Вот.

— Мама тебе, конечно, объяснила, что волшебников нет, — сказал я, убежденный, что так оно и было: Лариса ко всему подходила трезво. — Людочка, — продолжал я, — смотри, туман как белый медведь. Сейчас проглотит нас, и будет нам в брюхе у него холодно. Беги к маме, а мне на семинар пора.

— Семинар, — сказала Людочка. — Это когда много се-менов?

— Семян, — поправил я. — Нет, семинар — это когда взрослые дяди рассказывают, какие они звездочки видели.

— А у нас с тобой каждый день семинар, — довольно сказала Людочка.

...Народу в конференц-зале было немного — пришли, в основном, ребята Абалакина. Они не пропускали никаких сборищ и, в отличие от своего молчаливого шефа, любили пошуметь. Саморуков сидел в первом ряду и смотрел, как Юра выписывает на доске список изученных звезд.

— Десять систем, — сказал Юра, кончив писать. — В каждой из них ранее были отмечены явления, которые способно вызвать коллапсировавшее тело, например, черная дыра.

Юра говорил быстро, и я перестал слушать. Несколько дней назад он рассказал мне об этих звездах, и я очень хорошо представил себе, что мог бы увидеть. Яркое пятно на диске звезды — след отражения рентгеновского излучения. Плотный газовый шлейф вокруг гипотетической черной дыры. Разве я наблюдал что-нибудь подобное? Голубое солнце и солнце желтое, с водоворотами и протуберанцами, серо-розовая планета с животными на вершинах кратеров. Я нигде не видел картины, нарисованной Юрой. Все, что он рассказывал, было интересно, но не имело отношения к саморуковским звездам.

— Возможно еще одно объяснение, при котором черная дыра вовсе не обязательна, — сказал Юра, положив мел.

Саморуков поднял голову от бумаги, на которой, наверно, рисовал чертиков. Я понял: то, о чем собирался говорить Юра, они не обсуждали. Юра пошел поперек течения, вынес на семинар новую идею и не намерен делиться с шефом.

— Любопытное объяснение, — продолжал Юра медленно, не решаясь выложить основное. — Представьте себе две звезды небольшой массы. Это и не звезды почти, а нечто близкое к сверхмассивным планетам. И между ними большие массы газа. Одна из звезд горячая, а вторая холодная настолько, что на ней даже может образоваться жизнь. Холодная звезда греется внутренним теплом, а горячая остывает. В какой-то момент температура звезд становится одинаковой— градусов восемьсот. Это точка встречи — как у поездов, идущих в противоположных направлениях. Точка пройдена, и вот уже вторая звезда стала горячей, а первая холодной. Эволюция циклическая. Расчет показывает... Юра собрался было писать, но тут встал шеф.

— Поразительно, — сказал Саморуков, не глядя на своего аспиранта. — Столь искусственная гипотеза делает честь вашему воображению, Рывчин, но совершенно не объясняет наблюдений.

— Она объясняет, почему не видна одна из звезд. Мы думаем, что это черная дыра, а на самом деле...

— А на деле, — подхватил Саморуков, — там не черная дыра, а коллапсар, что одно и то же.

Через секунду шеф стоял около Юры, говорил вместо Юры, рассуждал убедительно и логично, и даже абалакин-ские ребята, сначала возмутившиеся перерывом в Юрином рассказе, слушали молча.

Юра был бледен, мел сыпался из его руки на пол мелкой крошкой. Я понимал его состояние: Юра не хотел стать окончательно саморуковской тенью, говорить только то, что хочет шеф, следовать лишь идеям шефа.

Я почти физически ощущал, как мучительно сейчас Юре, как не хочет он идти за шефом по обломкам своей гипотезы, как ищет он новые доводы и не находит, потому что шеф тоже не лыком шит и, когда выходит к доске, излагает только то, в чем окончательно убедился У Юры была оригинальность, у Саморукова — трезвая мысль. И теперь трезвая мысль доказывала оригинальности, что место ее в кабинете, а не на общей дискуссии. Ребята слушали раскрыв рты, а я хотел крикнуть: это ж неправильно!

Все было неправильно в доводах Саморукова. Все точно базировалось на спектрах, и все не так. Я видел Дзету Кассиопеи, видел жизнь на розовой планете, испепеляемой звездным ветром. Я знал, что там нет коллапсара. Вот в чем мучительная беда астрономии — как в поисках преступника, где нет ни единой прямой улики, только косвенные, а главное, нет ни одного свидетеля, кто видел бы все, кто мог бы встать и сказать: дело было так.

Я — свидетель.

Но я не могу говорить. Как назвать показания очевидца, если он не знает, видел ли все на самом деле или происходит с ним странная игра воображения, от которой можно избавиться дозой лекарства?

Саморуков отшвырнул мел. В зале нарастал шум, разговоры перекинулись по рядам. Не то чтобы ребятам стало неинтересно, но они уже поверили аргументам Саморукова. А я смотрел на Юру. Он сел на свое место в первом ряду и разглядывал дерево за окном.

Чем я мог помочь? Юре — ничем. Он тоже был не прав, как и шеф. Я встал и пошел из зала. У двери сидел Валера и слушал дискуссию с видом высшего арбитра. Только двое слушали из академического интереса, зная, что они лишние здесь. Валера и Абалакин.

И еще я, конечно.

6

Звездолет должен был стартовать в двадцать два часа. Экспедиция предстояла трудная, и на первом этапе сам шеф взялся вести мой корабль. Звездочка была слабой, пятнадцатой величины, и Саморуков доверял мне еще не настолько, чтобы выпускать одного на такой объект. Сложность заключалась именно в слабости звезды — автоматика дает наводку по координатам, но это значит, что в окуляре искателя появляется около двух десятков звезд примерно равной яркости и до сотни — более слабых. Они разбросаны в поле зрения, как горох на блюдце, и ты не знаешь, какая горошина твоя. Искать ее нужно по неуловимым приметам. Ювелирная работа, от которой начинают мелко дрожать руки и слезиться глаза.

На пульте зажглась сигнальная лампочка и одновременно под полом загудело, дрожь прошла по ногам. Включилась экспозиция, заработал часовой механизм. Звездолет стартовал.

— Так и держите, — сказал шеф, выпрыгнув из люльки наблюдателя. Он подошел к пульту, поглядел из-за моей спины на показания приборов.

— Хорошо, — сказал он. — Будьте внимательны, Костя, сегодня важный объект.

— В чем важность? — спросил я. — Коллапсар уже найден.

Что-то в моем голосе не понравилось Саморукову — наверно, я не сумел сдержать иронии. Он сел на стул, покрутился на нем, глядя не на меня, а в пустоту купола.

— Вы были на семинаре?

— Был...

— Юра молодец. Красивая идея. Я просто обязан был ее зарезать.

Я молчал. Я не понял этого рассуждения.

— Вам кажется странным? По-моему, все просто. Гипотеза о коллапсаре объясняет все наблюдательные данные. Возможны ли иные объяснения? Конечно. Но пусть их ищут другие. В астрономии, Костя, проще, чем где бы то ни было, выдвинуть десяток оригинальных, красивых идей. Например, в системе Дзета Кассиопеи могут быть два кольца наподобие Сатурновых. Только в сотни раз больше и в тысячи раз плотнее. Кольца наклонены друг к другу, и в двух точках происходит вечное перемалывание частиц, а другая часть колец создает затмения. Похоже? Но менее вероятно. С опытом приучаешься такие гипотезы держать при себе. И уж тем более Юра был обязан посоветоваться со мной прежде, чем излагать свою идею на общем семинаре.

Саморуков, должно быть, сам удивился тому, что так долго втолковывал мне очевидные для него истины. Он и не подумал спросить, дошло ли до меня, согласен ли я. Встал и пошел в темноту. Где-то в словах его была правда. Одна гипотеза или сто — мнения, не больше. Стоишь перед занавесом и на ощупь определяешь, что за ним. А я вижу, что за занавесом, хотя сам не могу свыкнуться с этим и ничего не понимаю в звездах. Но я не строю гипотез, говорю то, что вижу. Или не говорю. Пока не говорю. А должен ли?

Я пошел к телескопу — я уже мог делать это в полной темноте, не рискуя ушибиться о выступающие части конструкции. Отыскал наблюдательную люльку, поехал вверх. В окуляре искателя было сумрачно и пусто, темное озерцо медленно колыхалось, и на дне его я едва разглядел с десяток неярких блесток. Я выключил подсветку, нити пропали, и тогда там, где, по моим предположениям, остался центр, грустно улыбнулась желтоватая звездочка. Слабая, немощная, она даже мерцала как-то судорожно, не в силах сопротивляться течению воздуха в стратосфере.

Не знаю, почему мне вдруг пришло в голову поглядеть в главный фокус. Там, на самой верхушке трубы, куда сходились отраженные четырехметровым зеркалом лучи, тоже была окулярная система. И была маленькая кабинка для наблюдателя в самой трубе телескопа, около его верхнего края. В кабинке нужно было согнуться в три погибели, чтобы не загораживать от зеркала света звезд, и глядеть в окуляр— это уже не пятьдесят сантиметров искателя, это все четыре метра, гигантская чувствительность. Слабенькая моя звездочка там, в главном фокусе, наверно, полна сил.

Я никогда не поднимался так высоко под купол. Будто в ночном полете: глубоко внизу земля и неяркий свет у пульта, как огни далекого города. А совсем рядом над головой— твердь неба, до которой можно дотронуться рукой и ощутить ограниченность мироздания. Люлька медленно выдвигалась на телескопических захватах, я еще не научился хорошо управлять ею и двигался толчками. Звезды в прорези купола скакали с места на место, и от этого кружилась голова.

Верхний край трубы оказался у меня под ногами, он отграничивал мерцающее нечто, тускло светящееся, как дорога в преисподнюю: это внизу, в пятнадцати метрах подо мной, ловило звездный свет главное зеркало. Представилось, как я перелезаю в кабинку, как теряю равновесие...

Это было мимолетное, но неприятное ощущение — в следующую секунду я уже стоял обеими ногами на мягком полу наблюдательной кабинки. Здесь оказалось очень удобно, как в спускаемом аппарате космического корабля. Мягко светился пульт, и окулярная панель была не над головой, а перед глазами, смотреть было удобно, хотя и непривычно.

Я выключил подсветку пульта, и звездолет мой стартовал в непроглядную черноту.

Я окунулся в звездный океан. Не в озерцо, как в искателе, а в огромное море. Стартовые двигатели отключились, и мы неслись в пространстве по инерции — в глухой тишине, и мне показалось, что звезды, мерцая, шепчутся между собой. Я смотрел на ту, что была в центре. Все звезды лежали на черном бархате, как рубины в музее, а эта — моя — не лежала и висела над ними, необыкновенная в своем таинственном поведении. Эффект был чисто психологическим — оттого, что звезда была ярче других, — но мне показалось, что она неудержимо приближается, что звездолет мой мчится на недозволенной скорости, нарушая все правила межзвездного движения.

И я увидел. Все осталось по-прежнему, но я уже научился отличать этот миг узнавания. Момент, когда звезда из точки превращается в диск.

Звезда была старая. Глубокие черные морщины прорезали диск параллельно экватору. Морщины болезненно стягивались— казалось, звезда силится улыбнуться, но ей трудно, потому что нет сил.

Я не видел, как умирают, но, наверно, к людям и к звездам смерть приходит именно так. Неуловимо меняются черты лица — только минуту назад черные полосы кружились на звездном диске, и вот они застыли, будто завороженные, образовав странный и грустный узор. А от полюсов, будто судороги, поползли к экватору, будто волны звездного вещества перекатывались с места на место. Я подумал, как все это выглядит на спектре и выглядит ли вообще.

И еще я подумал: что станет с детьми, когда умрет мать? Планеты. Их было две. Они проявились и выросли не сразу. Я разглядел их боковым зрением — сначала оранжевую искорку, потом зеленую. Зеленая искорка превратилась в серп с длинными рогами, протянутыми прочь от звезды. У меня захватило дух.

Планета была как Земля.

Огромные синие океаны, как глаза, белый серпантин облаков— это точно были облака, рваные, мучнистые, закрученные в кольца. Между ними желтовато-зелеными пятнами пестрела суша.

На границе света и тени что-то полыхнуло вдруг ярко и пугающе. Пламя разрасталось и тускнело, и что-то проявилось в нем, я хотел разглядеть, напрягал зрение и от рези в глазах не в силах был увидеть подробности. Только общее впечатление — гигантский, в полматерика, диск медленно поднимался в космос.

Почему я решил, что это звездолет? Потому ли, что ждал этого: если гибнет звезда, все живое должно спасаться? Строить огромные корабли и лететь к другим звездам, искать новую родину, чтобы вечно помнить о старой. Едва видимый шлейф пламени тянулся за диском. Улетают. В таком корабле может улететь все население. Когда звездолет стоял там, на чужом космодроме, то, наверно, казался горой с неприступными склонами.

Я перестал следить за полетом диска, потому что на какую-то секунду пришлось закрыть глаза. Боль пробежала по нервам, как по проводам, к затылку и скопилась там, словно стекая постепенно в подставленный где-то в мозге сосуд. Когда я опять посмотрел в окуляр, то звездолета уже не увидел. Впрочем, я и не старался. Я хотел рассмотреть, что происходит на планете. Я представлял себе это. Те, кто остался, кто не смог или не захотел покинуть дом, смотрят сейчас в небо, а над горизонтом встает ущербное светило, чтобы в последний раз рассеять темноту. И миллионы глаз одновременно, на тысячу лет раньше меня, видят, как начинает вздуваться звездный шар, медленно и неотвратимо, как набухают, будто вены, темные морщины.

Мой звездолет висел неподвижно в далеком космосе, экипаж собрался у иллюминаторов и смотрел, как гибнет звезда. Смотрел и ничего не мог поделать, ничем не мог помочь.

И, будто сопровождая грандиозную агонию, грянул набат. Я не сразу догадался, что это всего лишь зуммер окончания экспозиции. Полет закончился, база дала приказ о немедленном возвращении.

Я смотрел вверх. В двух метрах надо мной чернел срез купола, а над ним уже посерело небо, и нужно было срочно доставать кассету. Люлька повисла рядом со мной, как посадочная ступень ракеты, вызванная на орбиту спутника, чтобы доставить на Землю экипаж вернувшегося из дальней разведки космоплана...

Теперь уже не смолчать, подумал я. Нужно сказать шефу, потому что такое нельзя упускать. Там, вдали, гибнет звезда, следующей ночью она может исчезнуть навсегда. Ни звезды, ни планет — хаос и смерчи.

Сейчас. Подпишу журнал наблюдений и пойду к шефу, думал я, укладывая кассету в шкаф. Вот только отдохну и пойду к шефу, думал я, шагая от телескопа к поселку по скользкой утренней траве. Дома я свалился как подкошенный, не раздеваясь. Закрыл глаза и успел подумать, что самая страшная катастрофа, если она так безмерно далека, оставит нас холодно-любопытными, не более. Там мечутся живые существа, тоска и боль разрн"ают сердце. Не атомная бомба, не смерч, тайфун, землетрясение. Нет — гибнет все, огонь слизывает сушу, океан кипит. А нам — любопытно, нам важно — описать, классифицировать, понять...

7

Все пошло не так, как я хотел. Меня растолкал Юра и сообщил, что шеф ждет.

Саморуков ходил по кабинету, рассеянно глядя в окно. С утра погода испортилась окончательно и. надолго — небо заложило тяжелыми тучами, черными, будто вымазанными сажей. Моросил мелкий осенний дождь, конца которому не было и быть не могло: небо изливало свой запас такими мелкими каплями, что израсходовало бы всю влагу года за два.

— Что это? — спросил Саморуков и поднял со стола пластинку со спектрограммой.

— Наверное, сегодняшний спектр, — сказал я, подивившись быстроте, с которой он был обработан.

— Сегодняшний, — согласился Саморуков. — Но почему вы думаете, что это спектр? Это каша. Спектр сравнения смещен. Сильнейшая передержка. Засветка поля. Пять часов, вы понимаете это? Кто мне сейчас даст пять часов наблюдений? А звезда, между прочим, уходит, и следующий цикл можно будет вести не раньше лета.

Я молчал. Саморуков сел за стол, аккуратно спрятал пластинку в пакет, сложил на подбородке руки, смотрел в окно. Молчание становилось невыносимым, но я точно знал, что первым не заговорю. Терпеть не могу оправдываться, даже когда виноват. Тем более сейчас. Ведь шеф не знает, что звезда вот-вот вспыхнет, наблюдать нужно непрерывно, и теперь, когда убедить Саморукова невозможно, мы не увидим этой гибели.

Как же так получилось? В камере главного фокуса, наверно, иное расположение тумблеров, да и работал я в полной темноте — мог ошибиться. Это легко выяснить, а может, уже выяснено: операции управления идут в память машины.

— Так, — сказал Саморуков. — Я тоже виноват. Не подумал, что вы здесь без году неделя и на вас еще нельзя полностью полагаться. А мне нужны люди, на которых я могу положиться полностью. И чтобы вы это поняли, Костя, получите выговор в приказе.

— Михаил Викторович, — сказал я, подыскивая слова.

Я решительно не знал, что говорить, и когда слова были произнесены, они были для меня такой же неожиданностью, как для шефа: — Звезда эта сегодня взорвалась.

Шеф поднял глаза, смотрел на меня без всякого выражения.

— Идите, Костя, — сказал он. — К чему фантазировать? Юру я нашел в библиотеке. Он рассматривал новые журналы и вполголоса разговаривал с Ларисой.

— Что шеф? — спросил Юра, отложив журнал. В нескольких словах я пересказал разговор.

— Ты действительно видел? — сказала Лариса. — Или это твоя фантазия, из тех, что ты рассказываешь Людочке?

— Что-то он видел наверняка, — сказал Юра. — Спектр засвечен, и на нем яркие полосы. Если яркость звезды сильно возросла, то понятно, почему спектр плохо вышел. Экспозиция оказалась слишком длительной. Конечно, если звезда действительно вспыхнула... Юра вышел, а я остался.

— Иди отдохни, — сказала Лариса. — У тебя круги под глазами.

— Здесь тепло, — сообщил я.

Лариса посмотрела на меня удивленно.

Костя, — сказала она, — что происходит? Эти твои фантазии...

— Давай-давай, — пробормотал я. — На меня скоро будут смотреть как на помешанного. Начни первая. Ты тоже не хочешь понять?

— Что понять, Костя?

— Что я не фантазирую. Ты меня знаешь не первый год — когда это я отличался буйным воображением? Помнишь, я писал тебе записки и не мог придумать слов покрасивее— фантазии не хватало. Я вижу звезды — так, будто они рядом. И планеты вижу. И то, что на планетах. Я видел, как взлетал звездолет, он был... как бы это сказать?..

Я замолчал. «Черт, — подумал я, — почему, когда я рассказываю Людочке, нужные слова сами приходят в голову? Ага, вот оно. Жалость. Лариса меня жалеет — глаза у нее круглые, испуганные. Она не хочет, чтобы я рассказывал, как не хотят слушать бреда больного».

— Костя, — сказала Лариса. — Хочешь совет?

— Давай, — согласился я. Пусть посоветует, а потом я спрошу совета у Юры, у Валеры, у Саморукова и даже у Абалакина. Соберу все советы и выброшу в овраг у Четырехметрового.

— Понимаешь, Костя... Я не знаю астрономии. И ты не знаешь. Ты просто хочешь необычного... Иначе не ушел бы с завода, верно? Но ты неправильно начал. Ты еще не знаешь, что это такое, когда Саморуков злится. Он не простит, если ты не будешь поступать так, как он хочет.

Я разозлился. Наверно, оттого, что Лариса была права.

— А я хочу поступать так, как считаю нужным! Когда-то я сделал по-твоему и оставил тебя в покое. Лучше тебе от этого?

Я хлопнул дверью, побежал домой под дождем, дрожал от осенней сырости. Потом подумал, что в коттедже сейчас Валера с Юрой и мне предстоит выдержать еще один наскок. Я повернулся и, скользя по хлюпающей жидкой почве, побежал к телескопу. Вахтер дядя Коля посмотрел на меня удивленно, я ввалился в теплое помещение лаборатории спектрального анализа, содрал с себя мокрую куртку, бросил ее на батарею отопления. Посидел минут пять совершенно без мыслей — как чурбак, брошенный для просушки. Потом достал с полки том «Оптика и спектральный анализ» и раскрыл его на первой странице.

8

Я не люблю праздничные вечера. На них обычно говорят не о том, о чем хочется, а о том, что приличествует случаю. Праздничный вечер был назначен на пятое ноября, потому что шестого автобус увозил людей в город отдыхать.

Мы поднялись с Людочкой в актовый зал, разглядывая намалеванные на стенах точки-звезды. Звезд было неумеренное количество — коридор стал похож на планетарий.

Я поискал глазами Ларису — она была сегодня в красном платье и выделялась в толчее, как сигнал светофора. Ларисе было весело. Мы с Людочкой тихо сидели в уголке, улыбались друг другу — чувствовали себя заговорщиками, будто нам было известно, что все звезды на стенах ненастоящие. Только мы и знали, какие они на самом деле.

Рассталкивая абалакинских ребят, к нам пробился Юра. Он вручил Людочке шоколадку, сказал значительно:

— Пришли телеграммы астросовета.

Что-то напряглось внутри. После вчерашнего разговора с шефом я думал только об этом, как о великом пришествии. Дождь все лил, только и оставалось — ждать информацию извне.

— Шеф тебе голову свернет, — пообещал Юра. — В ту ночь не было вспышки, понял? Спектр ты просто запорол. А звезда вспыхнула сегодня под утро. Теперь она называется Новая Хейли. Это в Паломаре — погода там хорошая, не в пример нашей.

— Вспыхнула... — сказал я.

— Именно, — подтвердил Юра. — Завтра шеф летит в Крым — снимать спектры на ЗТШ... У тебя дар предвидения?

— Дядя Костя волшебник, — сказала Людочка.

— Да? Послушай, волшебник, я хочу знать, что происходит. Расскажешь завтра в автобусе.

— Я не еду, — сказал я. Это пришло неожиданно. Я подумал, какая будет благодать — ни Саморукова, ни Юры, ни Валеры. Пустая лаборатория — и книги.

— Послушай, ты, подвижник. — Юра был ошарашен. — Ты не был дома две недели! Тебя мама ждет!

— Я позвоню, — пообещал я, — поздравлю с праздником.

— Это же неправильно! — сказал Юра, потому что больше слов у него не было. Его оттеснили, и он отступил, так и не удовлетворив своего любопытства.

— Что такое подвижник? — немедленно спросила Людочка.

— Это когда играют в подвижные игры, — брякнул я, думая о другом. Я смогу напроситься к кому-нибудь посмотреть Новую Хейли, если вдруг кончится бесконечный дождь.

— Хочу сказку, — объявила Людочка. — Ты не рассказывал сегодня.

— Верно... Сегодня страшная сказка, ты будешь бояться. Людочка не отступала, и я рассказал, как умирала старая звезда.

— Почему ты не помог ей? — осуждающе спросила Людочка.

— Я только учусь на волшебника. Я еще не могу управлять звездами.

— Нет, можешь, — убежденно сказала Людочка. — Даже дядя Миша может. Он какую хочешь звездочку достанет с неба. Он маме обещал, на день рождения.

Дядя Миша? Саморуков? Звезду с неба? Для Ларисы? Вот это новость... Шеф, вечно занятый, про которого и подумать нельзя, что он способен на нечто подобное! Любовь? Какая, к черту, любовь? Что можно полюбить в Саморукове? Научную честность? О чем он может говорить с женщиной, если не о работе?

— Что с тобой, дядя Костя? — спросила Людочка. — Тебе грустно?

— Нет, — сказал я, — просто подумал, какой хороший человек дядя Миша...

9

Назавтра дождь кончился, но тучи стали еще плотнее. Они висели так низко, что съедали вершину Медвежьего Уха. В читальном зале было прохладно и уютно — круг света от лампы высвечивал полстола, и мне казалось; что я сижу в маленькой комнате и в камине тихо трещат дрова.

Я записывал в бортовой журнал свои звездные экспедиции. Писал полдня и, когда перечитал написанное, подумал, что это даже как фантастика никуда не годится — сухо и неинтересно. Одно дело рассказывать; будто заново все переживая, и другое дело — записывать. Почему-то исчезают нужные слова и остаются одни штампы.

Я отложил тетрадь и взялся за оптику. Толстый том «Глаз и свет» я одолел почти до середины. Правда, я пропускал формулы, ловил только идеи, факты — все о зрении. Ничего в голову не приходило. К галлюцинациям мои видения не относились. Обман зрения исключен. Эйдетические образы? Откуда им взяться? Ровно ничем эта книга не помогла мне. К вечеру голова гудела, распухнув от сведений, которые я в нее втиснул,. Я уже не помнил, где и что я вычитал. Этого и следовало ожидать при таком бессистемном подходе.

Что сделал бы на моем месте настоящий ученый? Есть некий икс. Нужно узнать, откуда он берется. Прежде чем строить гипотезы, нужны добротные экспериментальные данные. Есть они у меня? Есть. Два десятка звездных экспедиций и неудавшийся полет к Марсу. Я просто не умею обрабатывать материал. Нет опыта. Нужно для начала отыскать хотя бы элементарные зависимости. Между чем и чем? Ну, хотя бы между расстоянием до звезды и ее размерами на сетчатке моего глаза.

Я с удивлением подумал, что все звезды видел одинаковыми. А ведь они разные! Дзета Кассиопеи в диаметре намного больше Солнца, а Новая Хейли — совсем карлик. Вот первый факт, который нужно учесть. Что еще? Планеты. Они во много раз меньше своих звезд, горошины по сравнению с арбузом. Они и мне кажутся меньше, но настолько ли? Я попытался вспомнить. Планеты будто плыли в недосягаемой дали, я напрягал зрение, и тогда диски их росли, я видел склоны кратеров на серой планете и звездолет со шлейфом пламени. Погодите! Значит, я могу видеть детали на планетах, но не в нашей Солнечной системе, а в других, где и самое-то существование планет еще не доказано. Какая же разница между Марсом и планетой в системе Новой Хейли? Расстояние. Я вижу то, что в далекой дали, и не могу различить того, что под самым, можно сказать, носом. Я и это записал в тетрадку. Пусть наберется хотя бы с десяток фактов — потом попытаюсь отыскать систему.

А может, я напрасно за это взялся? Может, дело в свойствах организма, которых я не знаю? Я не специалист — вот в чем беда.

А кто специалист? Кто специалист по явлению, которое никем и никогда не наблюдалось? Я — первый. Не на кого свалить ответственность. Может, так и становятся учеными? Бросают человека в водоворот — плыви. Выплывешь — хорошо, будешь ученым.

Когда я поздним вечером выполз из библиотеки на свет божий, то шел наклонив голову — она казалась мне настолько распухшей, что я боялся задеть ею о потолок. Я нахлобучил кепку, приготовился бежать домой под дождем. И на пороге остановился. Было тепло. Ветер стих, и вечерняя тишина бродила по двору, осторожно шурша гравием. Тучи разошлись, только на западном горизонте они еще стояли толпою, будто торопились удрать подальше и в спешке устроили у горизонта неимоверную пробку. А сверху рассыпались звезды.

Дома я наскоро заварил чай, жевал хлеб с колбасой, соображал, кто сегодня наблюдает. Кажется, по расписанию кто-то из планетчиков. Плохо, если так: планеты для меня — что пустое место. А шеф-то не понадеялся на наше небо. Где он сейчас? Сидит под куполом ЗТШ или, может, уже отснял спектры и несет вахту у фотометра? А Лариса? Завтра — седьмое. У Ларисы собрались, наверно, ее институтские подруги с мужьями. Разговаривают, танцуют. Людочка спит, раскинув руки...

Стеклянные двери в здании Четырехметрового были закрыты, и на мой звонок, шаркая комнатными туфлями, вышел вахтер дядя Коля. Он подслеповато разглядывал меня, загородив проход.

— Шел бы спать, парень, — сказал он наконец. — Праздник нынче, ну и празднуй.

— Наблюдать надо, дядя Коля, — сказал я, предчувствуя, что обстановка изменилась и не обошлось без воли шефа.

— Наблюдают, — сообщил дядя Коля. — А тебя пускать не велено.

— Почему? — я разыграл удивление просто для того, чтобы выудить у дяди Коли информацию.

— Самовольный стал, — пояснил вахтер. — Доверия тебе нет. Телескоп — машина точная.

Я повернулся и пошел, поздравив дядю Колю с праздником, на что тот отозвался как-то невнятно, чем-то вроде «на посту не пью». В двух метрах от башни телескопа было темно, как в дальнем космосе, — огни в поселке погашены, луна еще не встала. Только звезды глядели сверху и сокрушенно подмигивали — что, не повезло?

А почему не пойти на Шмидт? — подумал я. Купол полуметрового телескопа системы Шмидта — с зеркалом и коррекционной линзой — казался крошкой после громады Четырехметрового. Вахтера здесь не полагалось, узенькая дверь была распахнута настежь, как разинутый люк маленького звездного катера — юркого и быстрого. С непривычки здесь негде было повернуться, и я шарил в темноте, натыкаясь то на цилиндр противовеса, то на стул, поставленный в самом проходе, то на покрытую чехлом приставку телевизионной системы.

— Осторожнее, молодой человек, не наступите на меня, — сказал тихий высокий голос, я его не сразу узнал — не ожидал встретить здесь Абалакина. Говорили, шеф теоретиков наблюдать не умеет и не стремится. Согнувшись крючком, Абалакин сидел на низком стульчике в углу, подальше от телескопа и приборов.

Я услышал характерный щелчок и завывающий звук протяжки — оказывается, Абалакин включил автомат и снимал одну и ту же звезду на короткой выдержке. Должно быть, собирался вести фотоэлектрические измерения — искать быструю переменность блеска.

— Присаживайтесь, — предложил Абалакин тоном радушного хозяина. — Хотите пить?

Он протянул мне термос, и я отхлебнул обжигающий напиток — это был крепчайший кофе, горький как полынь, у меня запершило в горле, я закашлялся. Но голова неожиданно стала ясной, как небо над куполом.

— Что вы снимаете? — спросил я.

— Новую Хейли. Хочу вашему шефу конкуренцию составить.

Новую Хейли! Я не пошевелился, не сразу до меня дошло, что это мою звезду Абалакин сейчас щелкает на короткой выдержке. Везение казалось слишком невероятным, чтобы я поверил.

— Шучу, конечно, — сказал Абалакин. — Какой из меня конкурент. Михаилу Викторовичу нужны спектры, а мне достаточно кривой блеска. Хочу ребятам задачку подсунуть — развитие оболочки Новой перед вспышкой... Дайте, пожалуйста, кассету. Справа от вас, на столике.

Я протянул руку и, не видя, взял холодную кассету ^новой пленкой. Абалакин между тем достал отснятую и спрятал в карман. Он заглянул в искатель, проверяя, не ушел ли объект, и пустил новую серию.

— Видно? — спросил я, стараясь не выдать волнения.

— Что? — не понял Абалакин. — Ах, это... Видно, почти на пределе. Хотите поглядеть? Там в центре желтоватая звездочка.

— И все? — спросил я с наигранным разочарованием.

— Все, — подтвердил Абалакин. — Слишком далекая звезда...

Я посмотрел в искатель. Пришлось нагнуться, вывернуть шею. Долго в таком положении не выдержишь, а что я смогу разглядеть за минуту-другую? В темно-синем блюдечке («А засветка поля зрения здесь сильнее, чем в Четырехметровом», — подумал я) плавало несколько неярких звезд. Посредине я разглядел нечто очень слабое, нечто неощутимое, как огонек свечи на вершине Медвежьего Уха.

Я не почувствовал мгновения прибытия, все произошло очень быстро, как в любительском фильме с трансфокатором. Я не заметил, как изменилась звезда, — не обратил внимания. Но зеленая моя планета все так же плыла по своей орбите справа от звезды, и сначала мне показалось, что ровно ничего не изменилось за две ночи. Но это был обман зрения, просто я еще не вгляделся. Потом я увидел.

Планета горела. Горела суша, покрытая сплошной, густой и липкой маслянисто-черной мглой. Сквозь клочковатый дым пробивались языки пламени. Мне они казались языками, за сотни световых лет, а там, вблизи, это были, наверно, океаны пламени, гудящие, ревущие, беспощадные, тупо съедающие все: почву, металл, постройки, машины, растения, стада животных — все, все, все...

И горело море. Наверно, в их океанах была не вода, а какая-то другая жидкость: иссиня-голубая в прошедшие мирные дни, а теперь такая тускло-желтая, вся встопорщенная красной рябью. Пламя в океане поразило меня больше всего, поразило ощущением совершенной безнадежности. Если горит океан — конец всему. Кожей лица я чувствовал, как согрелось от моего прикосновения стекло окуляра. Но мне казалось, что это пожар умирающей планеты согрел за много парсеков стекло и металл. Я знал, что ничего больше сегодня не увижу — слишком слаб телескоп, — но все на что-то надеялся. Я хотел знать — спаслись ли они? Ушли под землю? Скрылись в бронированных постройках? Улетели на диске-звездолете?

И в это время на ночной стороне планеты, где в серой мгле рваные клочья пламени были особенно заметны, выступили какие-то белые точки, похожие на маленьких мошек. Они возникали в пламени и разлетались во все стороны, как искры на ветру. Мне начало казаться, что точки — живые. Они вели себя как бактерии на предметном столике микроскопа. Конечно, они были живыми: я увидел, как одна из точек затрепыхалась, удлинилась и, совсем как в учебнике биологии, разлетелась на две половинки, две точечки, которые сразу разбрелись по сторонам, затерялись среди таких же точечек-бактерий, и снова забулькала, закипела мешанина точечек и пламени.

Неожиданно точки сорвались с мест, понеслись ко мне, впились в мозг. Я уже не видел серпа планеты, потому что его не было на небе, он поселился у меня в мозгу и раздирал его. Боль стала невыносимой. Кажется, я закричал. Точечки испугались крика, заметались, но не вернулись на свою планету, они просто гасли одна за другой, а боль ширилась, захватила меня целиком. Боль была везде — не только в моем теле, но во всей Вселенной.

А потом исчезла и она.

10

Точечки остались. Когда я приподнял веки — осторожно, будто тяжелые шторы, — точечки выпрыгнули из глаз и разбежались по стенам. Боль исчезла. Я лежал на постели одетый, а в ногах у меня с мрачным видом сидел наш фельдшер Рамзес Второй. Полное его имя было Радий Зесоян, и был он вторым нашим медфараоном из династии Зесоянов — до него шаманил его старший брат, но однажды сбежал на более удобную работу в городскую амбулаторию. Рамзес Второй слыл хорошим малым, но вряд ли кто-нибудь доверял ему свое здоровье больше чем на одну простуду. Как-то не везло обсерватории на врачей. Молодые и гордые выпускники мединститута не желали ехать в захолустье, ибо врачи нужны и в городе. Старые да опытные тоже не горели желанием, вот и оставались добрые и сговорчивые, вроде Рамзеса.

— Проснулся, — сообщил Рамзес, увидев, что я разглядываю его белый халат.

— И слава богу, — послышался голос Юры.

Я повернул голову: Рывчин сидел у стола и штудировал мои записи. «Никогда не отличался корректностью, — с неудовольствием подумал я. — Когда он успел вернуться из города? Ведь уехал на праздники. Неужели я провалялся без памяти двое суток?!» Сразу вспомнилось — горящая планета, точки-бактерии, боль и что-то еще...

— Число, — сказал я.

— Молодой человек, — пояснил Юра Рамзесу, — желает знать, какой нынче год. Он воображает, что проснулся в двадцать втором веке.

Рамзес Второй растолковал мне, что к чему, своим густым и скрежещущим, как поезд на тормозах, басом:

— Ты проспал два часа. Я дал тебе выпить кое-что. У тебя болела голова. Тебя привел Абалакин. Ты переутомился. Много работаешь. Я за тебя возьмусь. Каждый вечер — прогулки. Утром — обтирания холодной водой. А сейчас спи.

Я хотел было сказать, что чувствую себя, как никогда, бодро, но Юра подмигнул мне, кивнул на подушку, и я послушно закрыл глаза.

— Все в порядке, — сказал Юра. — Вали отсюда.

Я открыл глаза, когда хлопнула дверь.

— Откуда ты взялся? — спросил я.

— Из города, естественно. Надоело... Валере хоть бы что, а меня джаз изводит. В общем, сбежал. Ключ свой забыл у Валеры, пришлось идти сюда. Прихожу — тебя нет, лежат эти тетради, я человек любопытный, ознакомился. А тут вваливается Рамзес, тащит тебя. Говорит — нервное переутомление. Я себе думаю — с чего бы это? Ну ладно, — оборвал он себя, и взгляд его неожиданно стал жестким. — Что случилось у телескопа? Что ты там видел?

— Какая разница? — сказал я. Вспоминать не хотелось. После случившегося — может, кончилась моя способность? Об этом я думал, этого боялся. Не до объяснений.

— Не хочешь, не надо, — миролюбиво сказал Юра. — Тогда я сам скажу. Все, что у тебя тут написано, страшная чепуха. Для фантастики нефантастично, для науки — антинаучно. Ты ищешь объяснений, а сам толком не установил — может, это галлюцинации. К примеру... Вспомни одно из э-э... видений и попробуй в нем что-нибудь изменить. Мысленно. Если это плод воображения... Ты слушаешь?

Я слушал. Я представил себе диск-звездолет на фоне зеленой планеты. Я попробовал пристроить к диску ходовую рубку — как на атомном ледоколе. Не получилось. Я четко видел сероватый диск, тусклое пламя, сквозь которое мог даже разглядеть контуры материка с желтой береговой полосой. А рубка расплывалась, исчезала, едва только я переставал думать о ней.

«Доказательство, — подумал я. — Какое это, к черту, доказательство? Для кого оно? Для шефа или для психиатра? Мало ли что я могу себе мысленно представить, а что — нет?»

Я начал вспоминать все звезды подряд, воображал их иными, и мне это не удавалось. Я видел, что видел — не больше и не меньше.

— Не можешь? — сказал Юра и сел на кровать, я почувствовал, как застонали пружины. — Это уже хорошо. А теперь попробуй представить себе планету около Новой Хейли. Попытайся разглядеть новые подробности, каких ты не увидел или не заметил, когда смотрел в телескоп. Смотри и описывай. Ищи новое.

Юра говорил как гипнотизер — внушительно и, по-моему, не своим голосом. Новое. Я вгляделся в картинку и почувствовал, как опять появляется боль. Как нарастающая волна цунами — нужно остановить ее. Вот она медленно опадает. Стихла. Но в какое-то короткое мгновение, когда волна уже перевалила через береговые заслоны, будто именно боль прорвала плотину. Я понесся еще ближе к планете, к какой-то точке на границе света и ночи. Это был город. Он раскинулся как спрут: улицы-щупальца, дома-шпили с длинными четкими тенями. Город не горел, но вокруг него все дымилось, и над домами, площадями редкими зеленоватыми пятнами неслись клубы полупрозрачного дыма и облачка пламени. Город казался вымершим, но в то короткое мгновение, когда я увидел его, я мог просто не различить движения. Главное — это был город, настоящий город, чужой город.

— Ну что? — нетерпеливо сказал Юра.

— Как будто город, — неуверенно ответил я. — Дома, улицы. А может, показалось. Раньше я ничего такого не видел. Или не обращал внимания. Запомнил механически. Я больше смотрел на пожары...

«Разговорился, — подумал я. — Зачем я все ему рассказываю? Сейчас наш Юра глубокомысленно нахмурит брови, посидит минут пять и родит мышь. Совершенно ясно. Потому что в сознании у него, как и у меня, впрочем, сверлит одна мысль — невозможно. Никто никогда не видел звезд вблизи, этого не допускают физические законы».

— Чего нам недостает, так это гениальности, — пробормотал Юра.

Точно. Гениальности нам не хватает. Если человек заявляет, что может читать мысли, можно дать ему мысленное задание. Если может спать на гвоздях, готовят ему постель. Ну, а если человек говорит, что ему являются привидения? Чем проверишь? Энцефалографом? Окулист и невропатолог ничего не скажут. Остается психиатр. Вот и весь сказ. Таких, как я, только более настырных, нужно искать в желтых домах. Собрать всех с аналогичными синдромами и попросить описать горящую планету. Психи расскажут кто во что горазд. Но если найдутся несколько человек, которые опишут одну и ту же, в мельчайших деталях картину... До чего я дошел? Общее собрание психов. Старший инженер Луговской отправляется в командировку по сумасшедшим домам Европы...

А если я один такой? Если таких за всю историю человечества были десятки? Может быть, таким был Свифт, писавший триста лет назад о спутниках Марса? Безнадежная затея — искать себе подобных.

Что остается? Первое: искать объяснение самому. Второе: смотреть на звезды, искать подробности, которые сегодня не были бы видны никому ни в какие телескопы, но завтра должны были бы проявиться. А я бы каждый раз предупреждал заранее. После десятого предупреждения даже Саморуков заинтересуется...

Есть и третий вариант: смотреть и молчать. Записывать. Ждать удобного часа. Так и буду, как мистер Кэйв в уэллсовском «Хрустальном яйце». Уж он-то мог убедить кого угодно. Вот яйцо, смотрите сами. Нет, молчал, прятал под подушкой, глядел по ночам, наслаждался неведомым...

Я открыл глаза, вспомнив, что Юра сидит и ждет. Но Рывчина не было. У самого моего носа лежала на одеяле записка: «Спи спокойно, дорогой товарищ. Тетради я взял с собой. Поговорим утром».

«Куда же он пошел, — удивился я, — у него же нет ключа...» Мысль шевельнулась лениво — я уже засыпал.

11

На меня шеф не взглянул. За пультом телескопа сидел Юра и страдал. Страдал явственно и нарочито, чтобы Саморуков понял: заставлять Рывчина вести наблюдения есть кощунство.

Шеф вернулся утром, не очень довольный: ночи в Крыму были облачными, удалось снять всего один спектр. Сейчас Саморуков ходил под куполом быстрыми шагами, натыкался на толстый кабель, ушанка висела на нем, как опрокинутая кастрюля, полы пальто развевались. Снаружи было ясно, но очень холодно. Снег еще не выпал, но я был уверен, что к утру тучи закроют небо. Видимо, и шеф в этом не сомневался.

— Вот первый спектр, — шепнул мне Юра, протянув кассету. — Отнеси проявлять.

— Мир? — спросил я.

— Временное прекращение огня. Праздник — операторы и лаборанты танцуют в городских кабаках. Так что я на твоем месте. Ты — на чьем-то еще.

— Понятно.

— Ему понятно! —вскричал Юра и оглянулся на шефа. — Что за абракадабра в твоих записях?

— Не про тебя писано, — сказал я и проскользнул в фотолабораторию. Было за полночь, но спать не хотелось. Весь день по совету Рамзеса я провалялся в постели, встал под вечер, поработал с гантелями и пошел гулять. В окнах Ларисы горел свет — неяркий и теплый. Почему-то и Ларисе не сиделось в городе... На дороге меня и догнал вахтер с приказом шефа явиться на телескоп.

Я вытащил пластинку из фиксажа и включил свет — в глаза будто впились иглы, маленькие снаряды были прямой наводкой в затылок. Каждый фотон — снаряд. Я стоял, привыкая к свету и к той мысли, что мелькнула в голове. Сумбурная и, вероятно, неверная идея, но в моей тетради ее еще не было.

Я вышел под купол. Все-таки было у меня какое-то везение — шеф ушел, а Юра, воспользовавшись случаем, читал детектив. Я и спрашивать не стал — влез в люльку и поехал к телескопу. Юра у пульта поднял голову, но ничего не сказал. Подниматься в главный фокус я не решился.

Не знаю, чего я ждал. Мрачный выжженной пустыни и скалистых впадин на месте океанов? Все было иначе, и это «иначе» означало, что разум победил. Он набирал силы, ждал и взялся за дело в тот самый миг, когда яркость Новой достигла максимума.

Пожаров на планете не было. Исчезли черные тучи дыма, и лишь кое-где появлялись искорки пламени. Я хотел увидеть город, но на терминаторе — границе света и тени — был океан, такой же голубой и спокойный, как несколько ночей назад. Планета вращалась, и город погрузился во тьму, в ночь. Исчезли и точечки-мошки, они сгинули вместе с огнем, может, именно они и погасили пламя. Они были пожарными, питались жаром огня и умерли вместе с ним. Так я подумал, и мне захотелось увидеть, что стало со звездой.

Яркий желтовато-белый диск был окружен почти невидимым ореолом. Ореол будто проявился на сетчатке глаза и стал сетью. Впечатление было именно таким — будто на звезду набросили тонкую сеть-паутинку. Она была похожа на каплю, острый ее конец смотрел в сторону зеленой планеты. Я продолжал искать и нашел паука. Он висел в самой вершине паутинки — на острие капли. Это был диск, тот самый диск-звездолет или другой, такой же. Значит, это не было бегством, диск летел к звезде, чтобы укротить ее, запереть, поймать в сети, силовые или энергетические. Сети, которые не дадут звезде разогреться.

«Куда нам до них, — подумал я. — Вспыхни сейчас Солнце— и все, конец роду людскому. А они выстояли. Они все предвидели и были готовы». Мне стало радостно, будто не чужие, может быть, страшные на вид существа, а я сам командовал сражением и спас свой мир.

Я хотел разглядеть диск поближе, увидеть, как выходит из него сеточка-паутинка. Но что-то удерживало меня: я боялся повторения вчерашнего. «Пора слезать, — подумал я. — Я и так увидел больше того, что могу понять. И голова начинает болеть. Стучит в висках».

— Нагляделся? — спросил Юра, когда я подъехал к пульту и спрыгнул на пол. Он уже не читал, рука его лежала на клавише возврата люльки. Он не хотел мне мешать — слушал, идет ли шеф. Сейчас он ждал рассказа.

Я рассказал, и Юра вздохнул:

— Может, ты все это и видел, но кого ты сможешь убедить? Нужно разглядеть что-то такое, что можно подтвердить спектроскопически. Наука изучает объективную реальность. А твоя реальность пока необъективна...

— Вот тебе и фонтан идей, — сказал я, зная, что Юра обидится.

— Что ты понимаешь в астрофизике, технарь несчастный, — спокойно сказал Юра. — Фонтан идей тебе нужен? Пожалуйста!

— Послушай, Юра, — начал я, но Рывчин уже завелся.

— Идея первая, — грохнув стулом, Юра стал ходить в узком промежутке между пультом и балконной дверью. — В обсерватории поселился представитель иной цивилизации, который раньше уже побывал во многих звездных системах. Он обладает даром телепатии, и ему ничего не стоит внушить тебе картинку с экзотическим видом. Вопрос в том, почему он выбрал тебя?

— Я не астрофизик, — сказал я, — эксперимент чище. Пропустив мои слова мимо ушей, Юра перешел ко второй гипотезе.

— Представление о каждой звезде, обо всем, что человек видит, складывается в мозгу на основе предыдущих представлений, на основе прочитанного и вообще всего, что человек знает. Складывается подсознательно в определенный образ, и образ этот всплывает, как только картинка оказывается завершенной. Образ воспринимается как реальный. Ты даже можешь изучать его, искать подробности, которые в нужную минуту всплывают из подсознания.

— Отлично, — сказал я. — Как ты объяснишь, что я видел начало гибели звезды на сутки раньше вспышки?

— В главном фокусе и не то увидишь, — буркнул Юра. — Что, не нравятся идеи?

— Они сколочены по модным рецептам...

— Ну-ну... — заинтересованно сказал Юра.

— Пришельцы, телепатия и подсознание. Самые модные темы для салонных интеллектуальных бесед.

— Может быть, — пожал плечами Рывчин. — На моду тоже можно смотреть по-всякому. В десятых годах модно было говорить о теории относительности. Не понимали, а говорили. Теория относительности от этого хуже не стала.

Пришельцы, телепатия и подсознание. Когда Юра перечислял эти химерические гипотезы, какая-то фраза или слово прозвучали у меня в мозгу резонансом, я даже на секунду подумал — вот решение. Но секунда улетучилась, и теперь я не мог вспомнить.

Мне почудились шаги внизу, приглушенный разговор. Юра тоже услышал, сказал:

— Шеф.

— Всегда он не вовремя, — буркнул я.

— Не скажи, — с готовностью подтвердил Юра. — Говорят, наш шеф даже родился не вовремя. На два месяца раньше срока. Или на два столетия. И жениться решил не вовремя. Шастает по ночам...

— Кто собрался жениться? Шеф? — Для меня это было новостью. Шевельнулось что-то, связанное с женитьбой шефа. Я не успел додумать, Саморуков уже ходил под куполом большими шагами, на меня и не смотрел. Он не со мной говорил, а с неким «иксом», сотрудником лаборатории, который только и делает, что нарушает трудовую дисциплину.

— Что это значит, Луговской? Вы больны, а я узнаю об этом последним. Завтра утром чтобы вас в обсерватории не было. Пишите заявление — неделя отгула за работу в выходные дни.

— И вот еще, — он остановился передо мной, мне даже показалось, что в темноте глаза его светятся, как у кошки. — За то, что вы самовольно были вчера на наблюдениях, получите второй выговор. Вы знаете, как я к вам отношусь, но во всем нужна мера. Запомните раз и навсегда: вы должны делать то, что говорю я. Иначе мы не сработаемся. Ясно?

Он пошел к пульту, заговорил с Юрой — я для него не существовал. Я представил, как он приносит Ларисе добытую с неба звезду и ждет согласия. Конечно, он его получит. И тогда Саморуков начисто забудет о Ларисе, потому что никогда не вспоминает о работе, которая закончена, о цели, которая достигнута. Неужели Лариса не понимает этого?

— Вы еще здесь, Луговской? — шеф поднял голову от пульта. — Идите, идите. Вернетесь через неделю. До сви данья.

12

Никуда я не поехал. Проснулся поздно, с головной болью. Перед глазами стояла Новая Хейли, диск-звездолет, который казался золотистым в свете звезды. Что в нем? Люди, такие, как я? Или механизмы, надежно запрограммированные? Для чего сеть? Сеть ли это? Аналогии, аналогии. Неуместные, ненужные. Тому, что я видел, нет названия в земном языке, а их речи я никогда не услышу. И что бы я ни придумал по этому поводу, будет неверно и глупо.

Я оделся и пошел на работу, старательно обходя места, где мог встретить шефа, — как страус, прячущий голову в песок.

Погода была мерзкая — Медвежье Ухо, подобно сгорбленному атланту, подпирало темно-серый купол, и купол этот медленно оседал на землю белыми хлопьями первого мокрого снега. У входа в лабораторный корпус стояла Лариса, мокрая, как цыпленок.

— Жду тебя, — сказала она, не здороваясь. Я оглянулся, мне почему-то показалось, что позади маячит фигура Саморукова и слова эти обращены к нему.

— Людочка простудилась в дороге, — сказала Лариса. — Ночью был жар. А теперь она хочет сказку.

— Вот и стал я народным сказителем, — вздохнул я.

Людочка лежала в постели, укутанная по самые уши. Увидев меня, она достала из-под одеяла руки, потянулась и тоненьким голоском сказала:

— Папка пришел...

Я посмотрел на Ларису. Людочкины слова я воспринял как часть какой-то игры. Лариса стала пунцовой. Она наклонилась над кроваткой, сказала торопливо:

— Доченька, дядя Костя пришел рассказать тебе сказку...

Я начал рассказывать про паучка, плетущего сети. Огромные сети, которые он расставляет на главной звездной дороге — Млечном Пути. Звезды, большие и малые, спешат по своим звездным делам, а на пути вдруг вырастает сеть, звезды попадают в нее, потому что они не привыкли сворачивать с пути. И тогда нападает на них паук. Пауком управляют люди, почти такие, как мы. Они набирают звездную энергию, чтобы дать жизнь своей планете, чтобы могли двигаться поезда, летать самолеты, светить фонари в ночных городах.

— Ты видел паучка? — с уважением и страхом спросила Людочка. Она привстала в постели, смотрела на меня, как на Илью Муромца.

— Видел. Звезда большая, а паучок маленький и золотистый.

— Поймай его. Я тоже хочу посмотреть. Ладно, папка? Опять! В дверях стояла Лариса, она все слышала, и лицо ее болезненно скривилось.

— Спи, Людочка, — сказал я. — Ты больна. Я пойду охотиться...

На работу решил не идти. Отдыхать я могу на законном основании — не все ли равно уважаемому шефу, где я буду поправлять свое здоровье?

Но все шло вкривь и вкось в этот день. Единственное место, где я решительно не хотел бы встретиться с Саморуковым, это вход в дом Ларисы. Столкнулись мы в подъезде, и оба опешили от неожиданности.

— Что вы здесь делаете, Луговской? — довольно спокойно начал Саморуков и облокотился о косяк. Он не собирался ни пропускать меня на улицу, не входить в дом. — Автобус ушел, а я привык, чтобы мои распоряжения выполнялись.

— Мне нечего делать в городе, — хмуро сказал я.

— А здесь у вас есть дело? Здесь обсерватория, а не клуб любителей фантастики.

Настала моя очередь удивляться. Что он хочет сказать?

— Я отобрал у Рывчина ваш опус, — объяснил Саморуков. — Любопытно изложено, но ваше незнание астрономии выдает вас с головой. Ваш талант может найти себе лучшее применение, чем здесь. Во всяком случае, в моей лаборатории вы больше не работаете.

Тремя прыжками Саморуков взбежал на второй этаж, и я услышал звонок. Потом тихие голоса, щелчок английского замка. Я стоял у дома под снегом и отлично понимал, как чувствует себя побитая собака.

Хорошо, однако, быть начальником. Понравился человек— пригласил работать. Не сработались — до свидания. Я побрел домой. На западе небо посветлело, а у самого горизонта между серостью земли и серостью неба будто втиснули клинок — узкая полоска глубокой сини рвалась и стремилась разлиться рекой, затопить сначала Медвежье Ухо, а потом и все, что пониже.

До вечера я просидел дома. Решил возместить потерю тетрадей, попавших к Саморукову. Отыскал в ящике помятый и наполовину исчирканный блокнот, вырвал чистый лист. Писал быстро — в голову пришла очередная гипотеза, наверно такая же бредовая, как все прежние.

Я вспомнил, как щелкал затвор, заканчивая выдержку. И слова Юры — о том, что образ звезды складывается из впечатлений, накопившихся в подсознании. Пришла аналогия— мозг и фотопластинка. Жиденькая аналогия, раньше я уже думал об этом, но даже не записал. А мысль не уходила, она обрастала подробностями, и я зацепился за нее, чтобы понять, достаточно ли она сформировалась, чтобы стоило серьезно о ней подумать. Пожалуй, стоило.

Где-то в мозгу есть центр, накапливающий фотоны. Как фотопластинка. Чувствительность глаза огромна — он способен реагировать на единственный квант света. Но один фотон не вызывает в мозгу никаких ассоциаций, в памяти нет картинки, которую он мог бы дополнить. А если бы такой центр был? Тогда ни один лучик света не пропал бы зря. Все они укладывались бы в одну картинку — сегодня один, завтра другой. Глядишь, и полотно готово.

Допустим, есть такой накопитель. Что из того? Откуда фотону знать, в какое место на картине он должен лечь? Лучи света от далекой звезды попадают в глаз одновременно и на один нерв. Разделяются они где-то по дороге в мозг, а может, и в самом мозгу. Как разделяются и почему?

Опять что-то не получалось. Затравка, по-моему, была хорошей. Накопитель света. Нужен еще один шаг, чтобы понять главное. Почему-то я был уверен, что думаю правильно, что мне просто недостает смелости. Раскованности мысли. Ну же, подгонял я себя.

Все дело в разуме, подумал я.

Мозг — коллектор, сборщик сведений о внешнем мире. Но — только ли? Мозг все же не фотопластинка, он не просто фиксирует, он обрабатывает сигналы зрения еще на пути к их законному центру. У неразумного животного сигналы благополучно доходят по назначению. Но человек — иное качество. Совершенно иное — это разум. Кто может доказать, что разумная фотопластинка будет фиксировать мир так же, как обычная?

Возможно, есть иное объяснение. Не знаю. Вряд ли здесь нарушаются какие-то законы природы. Нет, просто существуют законы, о которых мы пока не подозреваем. Обычно ведь люди очень осторожны, когда для объяснения парадоксального явления предлагают новый физический закон, будто у мироздания ограниченное число законов. Будто каждое явление не может нести с собой и нечто фундаментально новое. А самое новое, самое близкое к нам, настолько близкое, что мы не воспринимаем его как принципиально отличное от всего остального мироздания, — это наш разум. Ведь разум— иное качество. Я повторил это еще раз, записал и подчеркнул жирной чертой.

Разум — иное качество. Может быть, и законы здесь другие? Мы еще не подступились к законам разума, потому что неизвестно, с какими мерками, какими приборами к ним подступиться. Может быть, для познания разума нужны не приборы, а опять-таки разум? Может быть, в конце концов чувства человека окажутся более «дальнозоркими», чем любой созданный человеком прибор?

Я не верю, что я один такой. А может — просто боюсь быть единственным. Может, нас миллионы на Земле. Миллионы «зрячих». И дело в том, что проявиться это свойство легче всего может у астрономов — помогает техника. Что я знал бы о себе, если бы остался работать на заводе микроэлектроники, если бы не позвала меня в горы смутная жажда необычного?

13

К директору меня вызвали под вечер. Вернулся из города Валера, он успел «заскочить» в главное здание и явился с банкой апельсинового сока — дар неизвестного друга. Мне хотелось, чтобы этим другом оказалась Лариса, но, скорее всего, обо мне заботился Юра — в награду за потерю тетрадей.

— Не гадай, — сказал Валера, — все равно не догадаешься. Одевайся, тебя академик требует.

Когда я шел к главному зданию, непогода улеглась. У подножия Медвежьего Уха громоздились копны тумана, будто серые волки, собравшиеся на ночлег. А на востоке небо казалось вымытым и протертым тряпочкой — таким оно было прозрачным и иссиня-глубоким. На Четырехметровом готовились к наблюдениям — ребята из лаборатории техобеспечения вращали купол, проверяя моторы. Я подумал о том, что буду говорить. Ночью я должен быть у телескопа — вот и все.

Директор был в кабинете один, и это придало мне бодрости — я не хотел встречаться с Саморуковым.

— Садитесь, Луговской, — сказал академик. — Рассказывайте.

Я молчал. Я смотрел на листок бумаги, лежавший на столе, и читал вверх ногами приказ о моем увольнении. Однако силен Саморуков! Ну, не желает он со мной работать. Разве это причина для того, чтобы требовать немедленного увольнения?

— Это неправильно! — сказал я.

— Неправильно, — согласился академик. — Что вы там натворили? Михаил Викторович категорически утверждает, что вы недисциплинированны и не справляетесь с работой. Тогда упрек к нему — Саморуков сам вас нашел и пригласил в обсерваторию. Приказа я пока не подписал. — Я хочу наблюдать, — сказал я. — А у Михаила Викторовича в отношении меня иные планы...

— В отношении вас, — академик ткнул в меня длинным гибким пальцем, — планы у Саморукова вполне определенные: он хочет вашего изгнания. Вы можете вразумительно объяснить эту пертурбацию?

Вразумительно я не мог. Для этого я должен был рассказать про звездные экспедиции, и как мне теперь позарез надо каждую ночь видеть озерцо окуляра, и в нем — удивительный и близкий звездный мир.

Директор пододвинул к себе бланк с приказом, и поперек листа пошла-поехала размашистая зеленая подпись. Вот и все. Звездолеты на свалку. Экспедиции в космос — запретить. На равнину, Луговской, в пампасы. Я встал и пошел к двери.

— Луговской, — сказал академик. Он стоял за столом и держал бланк с приказом двумя пальцами. — Отнесите в канцелярию, — голос его звучал сухо. — До свидания.

— До свидания, — пробормотал я.

В канцелярии было пусто — рабочий день кончился. Я поискал взглядом, куда положить приказ, чтобы не затерялся. Наконец я и сам посмотрел на то, что держал в руке, — это был другой приказ, не тот, что я видел на столе. Меня переводили на должность младшего научного сотрудника в лабораторию теории звездных атмосфер с испытательным сроком в один месяц.

В голове забухали колокола, как в церкви на площади. Непонятностей сегодня было больше, чем я мог переварить. Хотя... Саморуков требует уволить Луговского. Академик не понимает причины и готовит два приказа. Но для этого нужно согласие Абалакина — это к нему меня посылают на исправление. Значит — вызывают Абалакина...

Все было не так. Информацию я получил от Юры, на которого налетел впотьмах, возвращаясь домой.

— Знаешь, Юра, — сказал я, — мы с тобой уже не коллеги. Разные лаборатории — разные судьбы.

— Тетради я у него отберу, — пообещал Юра не к месту.

— Да ну их...

— Что значит — ну их?! — вскипел Юра. Он, наверно, готовил себя к мысли, что с шефом непременно нужно повздорить за правое дело.

— Что ты за человек? — сказал он с горечью. — Все ты принимаешь как должное. Не вмешайся Абалакин, катил бы ты сейчас в город.

— Ха, — сказал я, — очень нужно Абалакину вмешиваться. Академик понял, что доводы шефа неубедительны...

— Далеко пойдешь. — Юра перешел на свой обычный тон. — Очень нужно директору тебя защищать. Я как раз беседовал с Абалакиным в коридоре. Идет шеф, на ходу бросает: «Работать надо, Рывчин!» И — к директору. Я не успел оглянуться, смотрю — Абалакин вслед двинулся. Я за ними — на всякий случай.

В приемной дверь полуоткрыта, но слышно плохо. Потом Абалакин голос возвышает. «Требую!» — говорит. Абалакин требует, представляешь? Шеф выскакивает из кабинета злой, идет прочь, меня не видит. Появляется Абалакин — с видом Наполеона. Подходит ко мне. «Так что мы говорили относительно квазаров?..»

Каков Абалакин! Наверно-по-видимому-возможно. И каков шеф! А впрочем, что сейчас главное? Выяснять, почему проявил характер бесхребетный Абалакин? Не все ли равно? Главное — сообразить, как попасть на вечерние наблюдения.

— Пойдем, — сказал я Юре. — Посидим, выпьем чаю. Мне наблюдать сегодня.

— Ага, — отозвался тот без удивления. — Ребята Абалакина сегодня с одиннадцати. Первый раз на Четырехметровом, в порядке ознакомления.

— Спасибо за информацию, — сказал я.

В коттедже Валера заваривал вечерний чай — вдвое крепче утреннего. Он жаждал узнать новости, но деликатно молчал. После сумасшедшего этого дня голова у меня была тяжелой, есть не хотелось, и я выпил подряд три стакана чаю. Неожиданно для самого себя начал рассказывать о последней гипотезе, той, которую утром записал на листке из блокнота и бросил где-то. Юра слушал внимательно, а Валера глядел оторопело, он узнавал обо всем впервые.

— Дельно, — сказал Юра. — Нужно подумать. Кстати, ты бы попросил Абалакина... Ему все равно сегодня, что ребятам показывать. Пусть дает Новую Хейли. Посмотришь...

— Он собирается ядро Бэ Эл Ящерицы снимать, — сообщил Валера. — Есть у него одна идея по квазарам. Выпросил вот Четырехметровый, чтобы проверить... Сам мне сказал, когда передавал сок для этого типа.

— О, — удивился Юра, — твой новый шеф заботлив не в пример прежнему.

Бэ Эл Ящерицы. Что-то очень далекое, миллиарды парсек, не разглядеть, не понять.. Не хочу я проверять никаких идей. Хочу видеть зеленую планету, диск с паутинкой. Прошли сутки, и что-нибудь наверняка изменилось. Может быть, им не удалось справиться со звездным смерчем, и протуберанцы прорвали паутинку, и огненные реки сейчас текут в пустоте, настигая зеленый шарик. Не зеленый уже, а пурпурный, покрытый пеплом, копотью, лавой...

Пока я размышлял таким образом, явился Рамзес Второй.

— Вот что, Луговской, — официально заявил он, не изволив поздороваться. — Прошлой ночью тебя понесло на наблюдения. Ты знаешь, что такое покой?

— Покой, — сказал Юра, глядя в потолок, — это когда лежишь неподвижно, сложив руки на груди, закрыв глаза и ни о чем не думая. Тогда ты называешься «покойник».

— Правильно, — согласился Рамзес, не вникая. — Вот и лежи, когда говорят.

— А погода есть? — спросил я.

— Есть, — ответил бесхитростный Рамзес. — Так ты понял? Покой. Никаких наблюдений.

— Ладно, — я махнул рукой, начал одеваться. — Драться будешь, Рамзес?

Рамзес пошел к дверям, бурча что-то себе под нос. Он не любил, когда перечили медицине.

— Одевайся потеплее, — сказал Юра. — И попробуй уговорить Абалакина...

— Хорошо, — ответил я. Мысли были уже далеко, в капитанской рубке звездолета.

— А тетради я завтра добуду, — сказал Юра с неожиданным ожесточением в голосе. — Хватит. Надоело. Сделай то, сделай это. Сам. Есть идеи.

Я оделся и пошел. Ночь... Ночи, собственно, не было. Взошла луна и разнесла темноту в клочья, осветив каждую песчинку на дороге, каждый бугорок на тропе к Четырехметровому. Только теперь я понял, почему нашу горку назвали Медвежьим Ухом. Луна высветила деревья на вершине — тонкие стволы, как мачты невидимых клиперов, и гора отбросила на плато странную тень, вязкую и размытую, острую и с фестончиком на макушке. Действительно, похоже на ухо. Название горе дали по ее тени, которую и видно-то не часто. Странное взяло верх над обыденным...

14

Рейс задерживался — на борту были экскурсанты. Ребята вращали купол, тыкали пальцами в клавиши, гоняли трубу телескопа по склонению и прямому восхождению, дежурный оператор настороженно следил, готовый вмешаться в любую секунду, время шло, и полчаса, выделенные Абала-кину, близились к концу.

Оставалось минут десять, когда Абалакин решил, что пора и показать что-нибудь, Бэ Эл Ящерицы например. Он задумчиво стоял перед пультом, переводя взгляд с листочка с координатами на желтые клавиши управления, и тогда я, легонько оттеснив плечом своего нового шефа, набрал заветные цифры. Абалакин удивленно посмотрел на меня, промолчал. Ребята толкались в тесной люльке, как школьники, хотя смотреть было не на что — Новая Хейли для них слабенькая звездочка, и только.

Мы стояли с Абалакиным под люлькой. Он смотрел на меня искоса, может быть, ждал, чтобы я начал разговор.

— На вашем месте, — неожиданно сказал Абалакин, — я бы не осуждал Михаила Викторовича. Конечно, он поступил... странно. Но, может, он прав... Я хочу сказать...

Окончания фразы я не расслышал. Люлька опустилась, ребята с гиканьем посыпались из нее, и я полез наверх. Звездолет стоял на старте, но я был убежден, что рейс сорвется — мало времени.

Начало полета я воспринял как удар, резкий, хлещущий— по глазам, ушам, нервам, будто действительно взревели стартовые двигатели. Никогда еще не было такого, но испугаться я не успел — мы прибыли. Золотой диск затопил поле зрения. Звездолет повис над поверхностью Новой Хейли, кипящее звездное вещество Ниагарой стекало из окуляра по глазам, мне казалось, что струйки капают на подбородок. Никакой сети я не увидел, она растаяла, сгинула, будто и не было. «Проиграли? — подумал я. — Неужели не укротили звезду, и я увижу сегодня последние часы цивилизации?»

Сколько продолжалось это купание в звездном свете? Не больше десяти секунд — я закрыл глаза, отдыхая, а потом чуть в стороне от диска Новой легко отыскал свою зеленую блестку. Звездолет мой падал на планету, и от этого неожиданного и жуткого ощущения у меня застучало в висках, подступила тошнота...

Нужно было зацепиться за что-нибудь взглядом, чтобы остановить падение. Я заметил на берегу темно-синего океана бурое пятнышко и повернул к нему на всей скорости, так что затрещали переборки, а невесомость сменилась тяжестью, рвущей сухожилия. Падение прекратилось. Звездолет висел над городом. Серебристые облака, растянувшиеся рваными нитями, бросали на дома и улицы извилистые ломкие тени, и мне казалось, что город — подводный. Все расплывалось в глазах, будто рябь воды мешала разглядеть подробности. Но все же я видел какое-то движение — словно рыбки мельтешили в подводных гротах.

«Ближе, — думал я, — еще ближе... Что это — машины? Или животные? А может, это они? Выстояли перед звездным ураганом, погасили пожары и теперь оплакивают погибших, приводят в порядок хозяйство, восстанавливают заводы... А может, не этим они заняты. Чужая жизнь — я видел лишь мгновение, страшное для них, но все же мгновение, не больше. И если я всю свою жизнь, ночь за ночью буду наблюдать за ними, подглядывать через парсеки пустоты, может, тогда я пойму хотя бы крупицу. Что они знают, что могут, чего хотят? Справедливы ли? Летают ли к звездам? Любят? Я не уйду из обсерватории, пусть хоть десять Саморуковых требуют моего изгнания. Мое место здесь. Мое и всех таких, как я, если они есть на Земле».

Так говорил я себе, а звездолет опускался ниже, и в туманной ряби я видел уже, что дома — не дома, потому что они меняли форму, вытягивались и сжимались, и точки на улицах — вовсе не точки, а диски, очень похожие на тот, в полматерика, диск-звездолет. «Если это они, — подумал я, — то, наверно, и диск с паутинкой был одним из них, огромным и живым, и, может, он пожертвовал собой, чтобы могли жить остальные?»

Бредовая эта мысль едва успела оформиться в сознании, когда диски заговорили. Мне послышался голос Ларисы и тоненький Людочкин голосок, как она утром сказала: «Папка пришел»... Неожиданно все перекрыл взволнованный баритон Саморукова. Я подумал, что шеф даст команду с пульта, и я поеду вниз, не увидев, не доглядев, не поняв...

Потом...

Что было потом?

\* \* \*

В Костиной тетради остались несколько чистых страниц, и я продолжу записи...

Из больницы мы вышли под вечер. Лариса не торопилась домой, и мы бродили по кривым окраинным улочкам, все время сворачивали только влево, и почему-то ни разу не вернулись на прежнее место. Лариса плакала, и мне ничего не оставалось, как придумывать весомые и утешительные слова, хотя у самого скребли на душе кошки. Я так старался успокоить Ларису, что и сам поддался гипнозу слов. Исчезли и злость на Саморукова и тяжелое впечатление от длинных больничных коридоров. Только лицо Кости — осунувшееся, бледное — стояло перед глазами.

Я поймал какого-то врача, долго приставал к нему и ничего толком не узнал. Может, и не врач это был вовсе, а какой-нибудь санитар, и что он мог сказать, если третьи сутки Костя не приходит в себя и неизвестно, чем все кончится, потому что еще не наступил кризис...

Вижу, что записи мои сумбурны, мысли скачут. Нужно сосредоточиться. Выкурю сигарету и возьмусь опять.

Так. Вернусь к разговору с Ларисой. Когда мы, уже успокоившись, брели по улице Кирова, Лариса сказала:

— Я поругалась с Михаилом.

Сначала я не понял, о каком Михаиле речь. С трудом догадался, что Лариса имеет в виду Саморукова.

— Что ж, — сказал я, — значит, мы товарищи по несчастью. Я тоже поругался с этим Михаилом. Давно пора.

Я думал, что Лариса не станет продолжать, но ей хотелось выговориться. Думала она о Косте и рассказывала ему, а не мне:

— Представляешь, Махаил вчера приехал из обсерватории, явился и говорит, что надо срочно подавать в загс заявление: ведь потом воскресенье, а в понедельник он едет наверх— наблюдать. Я ему: «Как можно сейчас говорить об этом? Из-за тебя человек в больнице». А он: «Вовсе нет. История эта, говорит, лучшее доказательство того, что я бываю прав. Я запретил ему появляться у телескопа. Если бы он послушался, то спокойно паял бы контакты на заводе микроэлектроники. На большее его все равно не хватит...» И Михаил ведь не циник... Наверно, его не била жизнь. Наука, наука, а вокруг себя не смотрел. Да и Костя хорош. Ну почему, скажи, не жить им спокойно, как всем людям? Просто жить...

Она замолчала на полуслове, разглядев, наконец, что я не Костя. Да и я разглядел, что она не Лариса. Не та Лариса, что нужна этому неуравновешенному молодому лунатику. Или звезднику? Даже и названия нет. Надо придумать. Придумать название и найти работу в другой лаборатории, потому что с Саморуковым нам больше не по пути. И надо убедить Костю, чтобы оставил Ларису в покое. Да разве убедишь... Любовь со школьной скамьи. Вот уж действительно постоянство — как у египетских пирамид. Они тоже не замечают, что время идет и Египет стал иным, а фараоны и вовсе одно воспоминание. Не стоит она его. Выйдет Костя из больницы, поженятся они, допустим — допустим! — и станет любимая жена пилить его, потому что щадить себя ради семьи Луговской не будет.

Может быть, это как опиум — смотреть и видеть? Галилей тоже, наверно, не мог оторваться от своего подслеповатого телескопа и не шел, когда на звучном итальянском языке его звали спать, и глаза у него болели, а — глядел. Потому что видел невероятное. Ага, вот и название. Невероятное зрение. Инкревидение. Великое дело — название. Сразу легче рассуждать. Если есть название, значит, вопрос устоялся, пришли к соглашению комиссии и подкомиссии, и скоро имя автора попадет в учебники. Так будет и с инкревидением, если... Что если? Все так и будет. Да, но Костя еще без сознания, третий день, и если...

— Вот я и дома, — сказала Лариса, оборвав цепочку моих бессвязных «если». Дом был большой, старинный, мы стояли у подъезда, и мне на миг показалось, что там, в темноте, не узкая лестница с выщербленными ступенями, а провал, пустота, дорога к иным мирам. Иллюзия исчезла — не нужны Ларисе звезды и дорога в пустоту, ей нужна земная устойчивость. Работа, дом, семья. Обеды, штопка, подруги. Книги по вечерам. Кино, театр. Дети. Как у всех.

— Все хорошо, — сказал я уверенным тоном. — Утром Костя будет уже рассказывать свои истории.

— Ты думаешь?

— Конечно. Передай ему привет. Скажи: Юра не смог прийти потому, что занялся теорией инкревидения. Герой переутомился, а мне придется подводить под его подвиги научную базу. Так и скажи этому... инкревизору.

— Кому? — слабо улыбнулась Лариса.

Я повернулся и пошел, махнув рукой на прощание. Я знал, что она стоит у подъезда. Конечно, не потому, что смотрит мне вслед, а просто ей сейчас не хочется в четыре стены, где опять всякие мысли и одиночество. Дочка, наверное, давно спит...

— Запомни, Лариса! Инкревидение!

Я побрел, не разбирая дороги, потому что улица была мне незнакома, спросить не у кого, да и не хотелось возвращаться к Валере, в его прекрасные лепные хоромы, где мама и папа, и брат с сестрой, и бабушка с дедушкой, и сам Валера со своими вопросами: что, как, почему, и что врачи, и отчего он так, бедняга... Но больше идти мне в этом городе И было некуда, и я повернул назад, к больнице, каким-то чутьем узнавая дорогу, сворачивая теперь только вправо и ни разу не вернувшись к дому Ларисы. Вдали от фонарей останавливался и смотрел в небо. Звезды для меня оставались такими же, как всегда, газовыми шарами с заданной центральной плотностью и переменным индексом политропии. Я завидовал Косте. Завидовал даже не удивительной его способности, а неистовой увлеченности, с какой он стремился увидеть невидимое.

Огромный, в два квартала, корпус больницы вырос передо мной, я ткнулся в узкую калитку, и, конечно, меня не пустили. Я даже не смог отыскать окон палаты, где лежал Костя. По внутреннему телефону позвонил дежурному врачу, услышал прежнее «без перемен, но вот-вот...».

Тогда я сел за полированный, будто директорский, стол вахтера, потеснив банку сгущенки и потрепанный томик Есенина, разложил Костины тетради («Ради бога, Рывчин, берите, мне это не нужно... — сказал тогда Саморуков. — Даже из любопытства не стал бы читать второй раз...»). Нашел пару чистых страниц и добавил к Костиным каракулям свою бездарную фантазию,

...В две тысячи семьдесят пятом году (так скоро, рукой подать) в небольшом городке на Урале собрался очередной симпозиум по инкревидению. Убеленные сединами профессора сидели рядом с зелеными юнцами, потому что способность эта не знала привилегии и поражала человека неожиданно. Врачи спорили и исследовали, но то врачи. Физики спорили и не могли поверить, но то физики. А они, инкревизоры, не спорили. Они открывали людям миры.

— В системе Альционы, — рассказывал молодой негр, только что вернувшийся из Лунной обсерватории, — я видел корабли, работавшие на неизвестном принципе. Ни колес, ни эффектов воздушной подушки, ни выхлопов, ничего. Если есть здесь специалисты по двигателям, прошу понаблюдать эту систему...

— А на оранжевой планете в системе Денеба все еще воюют, — сказал с грустью маленький старичок. — И я боюсь, очень боюсь, что не сегодня-завтра увижу атомный гриб. Очень трудно — видеть и не уметь сказать, предупредить...

— Хочу предостеречь молодежь, — голос Председателя. — Друзья, прошу не отступать от программы. В Галактике сто миллиардов звезд, и на всех нужно побывать, все изучить, понять. Работы на века, ведь нас пока так мало, всего двести тысяч. Не забегайте вперед. Я понимаю — заманчиво увидеть далекие галактики. Понимаю, мечта каждого — узнать, как родилась Вселенная, увидеть ее край... Но все впереди у нас.

Так скажет Председатель, сойдет с трибуны, а на сцене развернется огромный экран и поплывут титры первого фильма «Увидеть Вселенную». И сидящие в зале прочитают слова: «Экспериментальная запись сделана с помощью цереброскопа ЦЗ-2». Понесутся навстречу кипящие клочья туманностей, и все люди Земли застынут у видеопанелей. Начнется первое звездное путешествие человечества. Вырастет на экране голубая блестка, станет пылающей звездой. Ослепительно голубой, ярче неба. А чуть в стороне уже виден зеленоватый серпик. Туда, сквозь атмосферу, в разрывы облаков, к бурым пятнам, которые вырастают и становятся городами. И вот она — чужая жизнь. Такая непохожая и непонятная, такая далекая.

Такая близкая...

Тетрадь кончается. Я не перечитываю — знаю, что написал совсем не так, как хотелось. Не умею, не те слова...

В окне виден небесный охотник Орион, взбирающийся на бесконечно высокую гору — в зенит. Где-то в обсерватории раздвигаются створки купола, и глубокий блестящий глаз выглядывает из прорези. Звездолет на старте, он ждет своего капитана. А из озерца окуляра стекают и гулко падают первые золотистые и горячие капли звездного света.